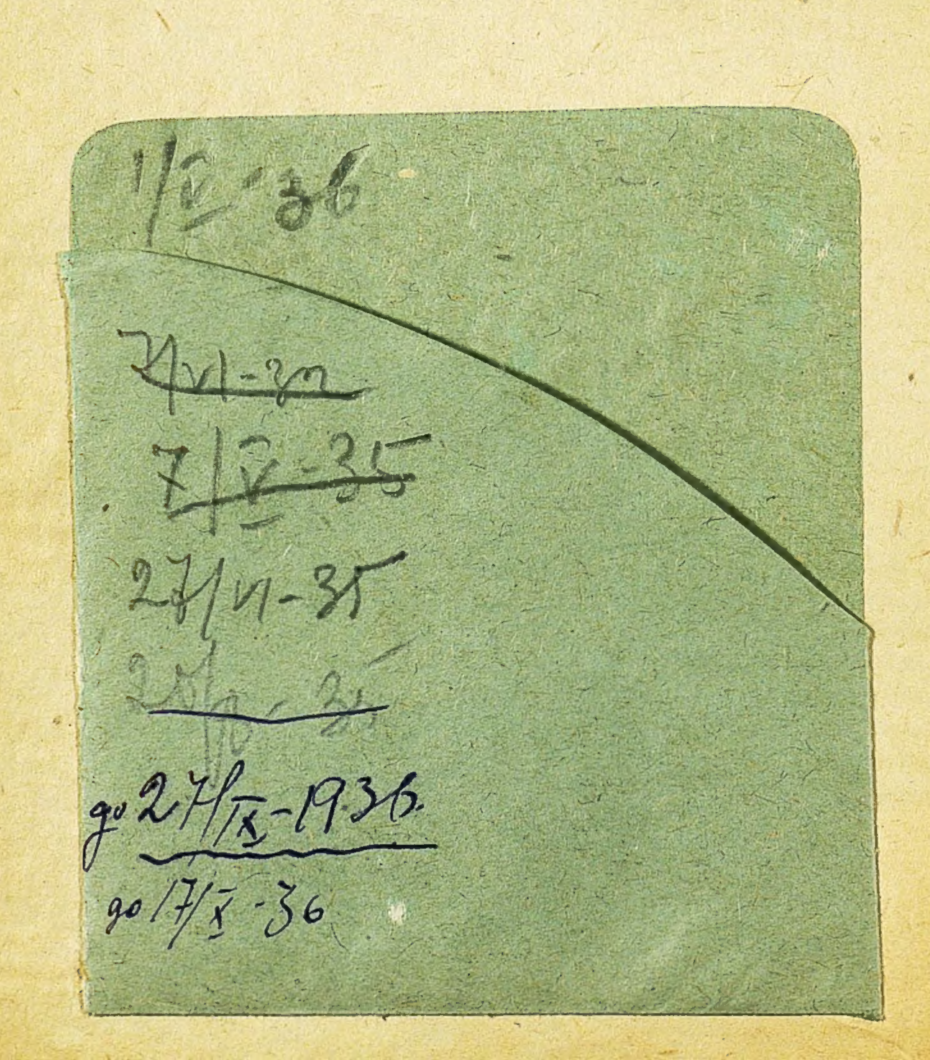
М. ПОКРОВСКИЙ

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОЛЕТАРИЙ“


27/VI-35
go 27/X-1936
go 17/X-36

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОЛЕТАРИЙ“
1926

[9 (47) „1861“]

Напечатано в первой типографии
Издательства „Пролетарий“,
Харьков, Пушкинская, 40,
в колич. 4000 экземпл.
Укрглавлит № 16372.
Заказ № 1082.

I

Новое общество.

„Некогда в Москве пребывало богатое, неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хлебосольству. Некогда Москва была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму... Ныне в присмиревшей Москве огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым. Под вызолоченным гербом торчит вывеска портного, который платит хозяину 30 рублей в месяц за квартиру, великолепный бель-этаж нанят мадамой для пансиона — и то слава богу. На всех воротах прибито объявление, что дом продается и отдается в наймы — и никто его не покупает и никто его не нанимает..."

Такой представлялась Пушкину Москва уже в тридцатых годах XIX века: за тридцать лет до дворянского „оскудения" шестидесятых годов от дворянского общества уже отдавало запахом тления. Для Пушкина, „шестистолетнего дворянина", это было прежде всего тленье, прежде всего упадок. Но он был достаточно чуток и объективен, чтобы отметить оборотную для него сторону медали. „Москва, утративши свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, оживилась и развилась с необыкновенной силой. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством"*).

Новый социальный слой, который должен был занять место, покидаемое дворянством, для проницательного взгляда определился уже достаточно ясно за 20 лет до Севастополя. Вместе с капитализмом**) буржуазия властно шла вперед,

*) „Мысли на дороге".

**) См. часть I, гл. IV „Экономическое развитие России в первой половине XIX века".

бесцеремонно ломая юридические рамки, в свое время придуманные для своей охраны феодальным режимом. Этот режим не признавал права собственности за крепостными: но современная Пушкину новорожденная русская буржуазия наполовину была крепостная, если не больше.

„Село Иваново, — говорит историк русской фабрики, — представляло собой в начале этого века оригинальную картину. Самые богатые фабриканты, имевшие более 1.000 рабочих, юридически были такими же бесправными людьми, как и последние голыши из их рабочих". Родоначальник династии Морозовых, Савва, был простым ткачом и крепостным помещика Рюмина. Владелец одной из крупнейших шелковых фабрик николаевского времени не только был крепостным по рождению, но и оставался им до самого 19 февраля. Гакстгаузен указывает на такое же происхождение московских Гучковых, табачного фабриканта Жукова и др. *). Старый режим монополизировал владение землей в руках дворянства, но большая часть крепостных буржуа были не только владельцами капиталов и промышленных заведений, а и владельцами земли и людей. Одному из упомянутых ивановских фабрикантов, Гарелину, принадлежало сельцо Спасское со всем населением; у другого было даже несколько деревень. Тот же Гакстгаузен приводит примеры крепостных капиталистов, накопивших себе по шести и семисот душ крестьян. Крепостную прислугу имели, конечно, все они. Юридически, все эти крепостные люди были записаны за господами их господ: но оброчный мужик, дававший барину двадцать тысяч в год, как ивановские фабриканты, был слишком выгодной доходной статьей, чтобы не уважать его прав, как ни были они экстравагантны, с крепостнической точки зрения. И вотчинные конторы беспрекословно регистрировали имущественные сделки крепостной буржуазии, дополняя этим штрихом ту картину государства в государстве, какую представляло собою помещичье имение начала XIX века.

Эта первобытная русская буржуазия, соответствовавшая западно-европейской буржуазии эпохи первоначального

*) Туган-Барановский. — „Русская фабрика в прошлом и настоящем".

накопления, оставила по себе мрачный след в русской художественной литературе. „Купеческие“ комедии Островского, чрезвычайно характерные, как симптом, именно для этого времени, прочно наклеили на нее ярлык „темного царства“. Но оно не во всем было темным. Раскрепощающая сила денег оказалась в России, как и везде. Обрабатывающая промышленность не могла существовать без резервной армии труда,— а эту армию нельзя было сформировать, не создав юридически свободного работника. Объективную сторону истории раскрепощения русского фабричного рабочего в 40-х годах читатели уже видели в главе, посвященной экономическому развитию России в первой половине XIX века. Для нас важно подчеркнуть, что это раскрепощение не было создано одной механической силой хозяйственных условий, но что предприниматели к нему сознательно стремились. Прошение купцов Хлебниковых *) является типичным для целого ряда подобных документов. „Как с духом времени изменилось фабричное производство,— писали Хлебниковы министру финансов,—введен механизм, заменяющий ручные работы, то и производство на фабриках работ поссессионными (крепостными) людьми не только не удобно, но и наносит постоянно важные убытки, да и самые при них поссессионные люди сделались уже излишними и обременительными для владельца“.

Но отпущенные на свободу, поссессионные люди составляли слишком ничтожную количественно группу, чтобы на нее одну могло опираться дальнейшее развитие промышленности. Уже в 1825 году более половины рабочих на купеческих фабриках (54%) составляли „вольнонаемные“. Эти вольнонаемные в подавляющем большинстве были тоже крепостные люди, но крепостные не фабриканта, а помещичьи, — или отданные в работу на фабрику их владельцами, или отпущенные по оброку и нанявшиеся на фабрику сами. И в том, и в другом случае фабрикант оказывался в зависимости от землевладельца, и очень тягостно чувствовал эту зависимость. Нельзя было установить никакого ограничения прав помещика над этой категорией его „подданных“, не касаясь крепостного права, между тем помещики,

*) Приводимое Туган-Барановским, оно относится к 1844 году.

руководясь интересами собственного хозяйства, снимали иногда с фабрики своих людей как раз в ту минуту, когда они были более всего нужны фабриканту. Уже в 1829 г. московские и владимирские мануфактуристы подавали на этот счет жалобу министру финансов; мануфактурный совет вполне подтвердил справедливость жалобы. Правительство пыталось помочь беде паллиативами: запрещением, например, помещикам снимать своих людей с фабрики до истечения срока найма. Но оно не могло заставить помещика отдавать в наймы или отпускать на срок своих крепостных, когда это нужно фабриканту, ни брать их обратно, как только они становились фабриканту не нужны. Отношения попрежнему оставались неподвижными — свободная фабрика не мыслима была в крепостной деревне. Нужно было сделать шаг дальше. Раскрепощенной фабрике должна была соответствовать раскрепощенная деревня.

Здесь, казалось бы, буржуазия должна была встретить ожесточенное сопротивление со стороны того именно общественного класса, который она была призвана заместить на социальной лестнице. Под давлением интересов ничтожного меньшинства тогдашнего общества, — ибо промышленная буржуазия все-таки была лишь небольшим островком среди дворянского моря, — юридическое раскрепощение деревни прошло, однако, почти без труда. Нам, свидетелям того отчаянного сопротивления, с каким встретило русское дворянство попытку окончательной ликвидации крепостного строя, — больше, чем предыдущим поколениям, 19 февраля должно представляться своего рода социологическим чудом. Все козни и ковы крепостников перед крестьянской реформой кажутся детской шуткой в сравнении с деяниями черной сотни наших дней*). Если теперь, пережив еще полвека разложения, дворянство оказалось настолько жизнеспособным, то какую силу сопротивления могло бы оно развить в 50-х годах?

Историческая загадка допускает лишь два объяснения. Одно из них — в него слепо верили современники, и его до сих пор продолжает повторять либерально-идеалистическая историография — заключается в том, что дело было

*) Написано в 1908 г.— *М. П.*

решено вмешательством своего рода deus ex machina: **вне-классовой** государственной власти, которая, во имя чисто политических интересов, нашла нужным положить конец крепостному праву. В литературном отношении эта гипотеза, несомненно, обладает большой стройностью и законченностью. Но объяснять какое-нибудь событие вмешательством deus ex machina для научной истории значит выдавать себе свидетельство о бедности. 19 февраля, как „государственная“ реформа, совершенная по почину сверху руками бюрократии, именно и остается чудом. Объяснение такого рода равносильно отсутствию всякого объяснения. Почин сверху был и при Екатерине II,— бюрократия и тогда была, а крестьянской реформы, как известно, не было. В еще большей мере и то и другое было при Николае I, — и всем известно однако же, каким жалким выкидышем кончился столь решительно им объявленный „процесс против рабства“. Очевидно, что ключ к замку следует искать где-то в другом месте. В новейшее время материалистическая историография выдвинула объяснение, которое пока имеет значение лишь предварительной разведки, но которое имеет все права стать вполне научной гипотезой. Объяснение это заключается в том, что в 50-х годах освобождение крестьян отвечало правильно понятым интересам самих владельцев крепостного труда. Чувство самосохранения дворянства, как класса, требовало крестьянской реформы: только эта реформа гарантировала сохранение его социального преобладания еще на одно или два поколения. Наоборот, отсрочка этой реформы грозила экономической и социальной катастрофой, которая могла ликвидировать феодальный строй сразу.

В чем состоит сущность той перемены, которую пережило помещичье хозяйство на протяжении второй четверти XIX века? Ее, эту перемену, можно кратко охарактеризовать словами историка прусского крепостного права: „Der Ritter wird Landwirth — „Барин стал сельским хозяином“. Около этого превращения феодала в предпринимателя вертится, — можно без преувеличения сказать, вся экономическая история России за те 40 лет, которые прошли между гибелью декабристов, с одной стороны, и выстрелом Каракозова — с другой. И не одна экономическая история: введение

в России начатков упорядоченного буржуазного общежития,— будет ли то суд присяжных, некоторые проблески свободы печати или местное самоуправление — непонятно и необъяснимо без этой прививки буржуазного духа к засыхавшему стволу русского феодализма. Потому что и в новых судах, и в земстве, и в тех учреждениях, которые ведали русскую печать и от которых зависела ее „свобода“, мы видим все тех же дворян. Интересы новорожденной буржуазии могли оказывать известное давление на государственную машину, но рычаг этой машины крепко держали в руках старые люди. И не захоти они повернуть рычаг так, как нужно было буржуазии,— давление последней, может быть, в конце концов сломало бы машину, но не заставило бы ее работать по новому. Если стоявший на посту государственного машиниста дворянин оказался так чуток к требованиям буржуазии, то это потому, что он сам был уже до некоторой степени буржуа.

Но переход помещичьего хозяйства к буржуазному типу совершился далеко не сразу. Основа буржуазного хозяйства — юридически свободный работник — именно в земледелии прививается всего туже. Здесь слишком сильны старые „рыцарские“ привычки, с одной стороны; здесь слишком остра иногда бывает нужда в рабочих руках—с другой. В мелких произведениях Кавелина сохранилась чрезвычайно яркая и выразительная картина „рабочего вопроса“ накануне падения крепостного права, как раз в том краю, откуда массами шла на рынок пшеница, — где, стало быть, были наиболее благоприятные условия для развития аграрного капитализма *). В Самарской губернии, которую описывает Кавелин, борьба за рабочие руки доходила до того, что соседи-конкуренты даже дрались между собою в самом буквальном смысле и захватывали друг друга в плен **)! Цена на рабочие руки прыгала не меньше цены азартных бумаг на бирже, колеблясь между 6 и 15 рублями за (сороковую) десятину. При этом „святость контракта, верность данному слову не существует даже по имени. Когда поспевает пшеница, все думают только о том, чтобы

*) „Письма из деревни“, 1860 года.

**) Соч. Кавелина, II, 667.

зашибить копейку жнитвой". В Самарской губернии помещику приходилось это терпеть, потому что крепостных рабочих рук в горячую пору не хватало. Но там, где крепостное население было достаточно густо, естественно было попробовать использовать старое феодальное „внеэкономическое принуждение" для новых буржуазных целей. Так вырос на русской почве — как раньше на почве ост-эльбской Германии — ублюдок: имение-предприятие на крепостном труде, имение-плантация. Мы не будем подробно разбирать историю плантационного хозяйства на русской почве. Для нас важно то, что в конце концов ублюдочный тип хозяйства, уже не феодального, но и не вполне буржуазного, оказался непригодным ни для старых, ни для новых целей. Уже в половине 40-х годов Ив. Киреевский мог дать такую пессимистическую характеристику нового курса в помещичьем хозяйстве: „Учреждались плодопеременные хозяйства, где избыток земли и недостаток рук указывали на устройство, прямо противоположное... Заводили многосложные орудия, не соответствующие местным потребностям. Педантическое улучшение маленького клочка земли, еще не имеющей большой цены в России, окупало важную потерю времени, особенно ценного в нашем земледелии... вводили усиленную работу и часто излишнее отягощение барщины там, где прежняя была выгоднее даже для помещика. Прежний естественный характер сельских отношений заменили характером фабричной напряженности. Многие разорили своих крестьян, многие возбудили в них мысль о разрозненности их выгод с интересами помещика-фабриканта; другие разорялись сами". Последняя подчеркнутая нами фраза прекрасно резюмирует одну не непосредственную экономическую, но очень важную по своим отдаленным экономическим последствиям в сторону вопроса, к которому мы сейчас вернемся. Пока же отметим, что факт краха плантационной системы, описанный, но не объясненный Киреевским, нашел себе объяснение в помещичьей диктатуре начала 50-х годов. Интенсивно барщинное хозяйство оказывалось в конце концов очень экстенсивным. „Смело можно сказать,—писал в 1852 г. псковский помещик Воинов,— что в хорошо управляемых

барщинах три четверти барщинников отвечают за себя и за других, т. е., что работа утягивается, по крайней мере, на четвертую долю времени". Другой помещик Ладыженский утверждал даже, что в барщине всегда пропадало работы наполовину. Только в мелких имениях, где „свой глазок — смотрок", хозяин мог непосредственно наблюдать за всеми мелочами, удавалось внеэкономическим путем выжимать из крепостного работника все, что теоретически возможно. Но жизнь такого мелкопоместного плантатора (превосходный портрет его, прямо списанный с натуры, дал Салтыков в „образцовом помещике" своей „Пошехонской старины") была настоящей каторгой, — и для всякого рассуждающего хозяина замена внеэкономического принуждения экономическим, или, как тогда красиво выражались, принудительного труда вольным, — являлась самым очевидным вопросом. Буржуазное хозяйство требовало и нового буржуазного права в деревне.

Мы потом увидим, что и самый тип нового помещичьего хозяйства, счастливо сочетавшего то, что было еще жизнеспособно в крепостном режиме, с приемами буржуазной эксплоатации, был уже знаком „дореформенной" России — и недаром он был открытием одного из талантливейших ее идеологов – Хомякова. К этому типу, вероятно, и перешла бы дворянская Россия без всякого давления сверху, если бы она имела время разобраться в своих собственных интересах и если бы дворянская интеллигенция успела во - время преодолеть трение отсталых слоев дворянской массы.

Но история не дала этой отсрочки русскому дворянству, и реформа приняла катастрофический характер, дорого стоивший отдельным земледельцам, но не изменивший ее конечных результатов. Дворянская Россия все-таки вышла из „эпохи великих реформ" укрепленной и освеженной и способной еще раз дать бой той буржуазной России, перед которой она как-будто пасовала уже в 30-х годах.

Условием, принудившим помещиков ликвидировать барщинное хозяйство с быстротой, совсем не отвечавшей их ближайшим экономическим интересам, было, несомненно, опасение, что иначе ликвидация пойдет снизу революционным путем и не ограничится уже одной барщиной. Обычная

либеральная схема истории 19 февраля, помимо своей научной несостоятельности, искажала и фактическую сторону дела. Раз все шло сверху, к изучению хода реформы, нужно было подходить с анализа того, что делалось на верхах общества. Начинать историю падения крепостного права с воспитания Александра II и заветов Жуковского, правда, давно уже стало тривиальностью, в сколько-нибудь серьезном изложении недопустимой. Но ограничиться изучением того, что происходило в различных „комитетах" и „комиссиях", заранее принимая массы за anima vilis, над которой производят известную операцию, но которая сама в этой операции активной роли не играет, — это почти общая черта всех существующих по настоящее время историй крестьянских реформ. При этом знаменательные слова Александра Николаевича, сказанные им в 1856 году московскому дворянству: „Лучше, чтобы это (освобождение крестьян) произошло свыше, нежели снизу", производили впечатление какой-то книжной фразы, не к месту попавшего мотива из передовой статьи либеральной газеты. На самом деле это вовсе не была фраза, как не фразой было и воспоминание Николая Павловича о Пугачевском бунте при обсуждении в Государственном Совете закона об обязанных крестьянах в 1842 г. Секира лежала у подножия дерева, и самодержавие наравне с дворянством было заинтересовано в том, чтобы во-время отвести удар. Современная неподцензурная литература не оставляет никакого сомнения в том, что этот мотив — опасение крестьянской революции — не только существовал, но и мог быть аргументирован с достаточной полнотой. Число крестьянских волнений по мере приближения к 50-м годам росло в очень крупной прогрессии. Из всех 556 крестьянских бунтов, зарегистрированных официально при Николае I, на первое четырехлетие его царствования приходилось только 41, а на четырехлетие 1845—49 г.г. — 172, 1850—54 г.г. — 137. Увеличившись по количеству случаев почти вчетверо, волнения в то же время приобретали все более серьезный характер. Из более или менее случайных вспышек, легко подавлявшихся полицейскими мерами, они превращались в длительные и иногда задолго подготовленные, почти планомерные попытки восстания. Так, брожение в имениях

князя Голицына в Данковском уезде, Рязанской губернии, тянулось два года (1847—48). На второй год крестьяне начали с того, что прекратили всякие барщинные работы, сменили все сельские власти и подвергли их телесному наказанию за слишком усердную службу помещику, а когда рязанский губернатор с экзекуционным отрядом двинулся на бунтовавшие деревни, он нашел их совершенно пустыми: все население разбежалось по соседним селениям казенных крестьян, попрятав у них все свое имущество и скот. Большей части так и не удалось разъискать, и пришлось ограничиться разрушением домов „главных зачинщиков", что едва ли очень удовлетворило помещика.

Особенно грандиозным характером отличались волнения, происходившие в том же 1847 году в Витебской губ. О степени эксплоатации здесь крестьян можно судить по следующему донесению губернатора Игнатьева, относящемуся к немного более позднему времени (1853 г.): „В Витебской губ. крестьяне почти не знают хлеба, питаются грибами и разными сырыми веществами, порождающими болезни; нищета страшная, а рядом роскошь помещиков; жизненные силы края совершенно истощены в нравственном и физическом отношениях, расслабление достигло крайних пределов". Целью движения было прямое и непосредственное освобождение от крепостной зависимости: между крестьянами ходила легенда, что в великороссийских губерниях воля уже дана, и они массами двигались в соседние Псковские уезды, чтобы ею воспользоваться. В движении приняли участие 10.000 человек. Готовясь к выступлению, крестьяне приобретали ружья, покупали порох, лили пули, перековывали лемеши на пики. Полиция, пытавшаяся их остановить, потерпела полное поражение; такова же была участь и небольших военных отрядов. По словам очевидцев, крестьяне шли, „сохраняя все военные предосторожности: впереди обоза шла партия человек в полтораста, вооруженных дубинами, пращами, косами и пр.; по сторонам, в середине и в замке—также вооруженные люди". „На вопросы вступивших с ними в переговоры властей они отвечали, что идут к царю показать, каким хлебом их кормят паны".

Для подавления движения пришлось пустить в дело целый пехотный полк и несколько рот от других полков.

В последние дни жизни Николая Павловича кошмар пугачевщины, преследовавший его всю жизнь, был, повидимому, ближе чем когда либо к тому, чтобы стать реальностью. Указ о „Морском ополчении“ 3 апреля 1854 года вызвал ряд волнений в Рязанской, Тамбовской, Владимирской и Нижегородской губерниях. „Толпы крестьян из Рязани отправились даже в Москву для объявления своего желания поступить в ополчение,— говорит один современный документ.— Вооруженные дубинами и железными пиками, они, на вопрос станового, что за люди,— ответили угрозами, чтоб ехал прочь, или они убьют его. Посланы были войска для задержания этой партии и возвращения их на место“. Манифест о государственном ополчении (март 1855 года) вызвал в Киевской губернии ряд бунтов: крестьяне поняли его, как восстановление казачества и толпами шли записываться в ратники. В результате, для усмирения одной этой губернии понадобилось 16 эскадронов, две роты саперов и батальон егерей. А одновременно на той же почве были беспорядки в Нижегородской губернии, Сибирской, Саратовской и Тверской: всюду крестьяне были убеждены, что кто три года прослужит в ратниках, тому—свобода вместе с семьей. Между тем, по свидетельству Самарина, „призывы в морское и сухопутное ополчение были составлены со всевозможною ясностью и осторожностью; видно, что пером сочинявшего их правило не столько желание поднять дух народный, сколько боязнь беспорядков и сопряженных с ними хлопот. Все, что можно было придумать для предупреждения неосновательных толков, которых опасались, было употреблено в дело, и, несмотря на все это, опасения до некоторой степени оправдались“. Потому что, „при современном настроении сословия, пьяная речь беглого солдата, превратно понятый указ, появление небывалой болезни, приезд государя в Москву (как это было в 1843 году), всякое происшествие, почему-либо обращающее на себя внимание, может произвести где-нибудь тревогу и возбудить мгновенно присущую мысль о свободе; ничтожный беспорядок может также легко перейти в бунт, а бунт развиться до общего восстания“ *).

*) Соч. Самарина, стр. 33.

Новому типу дворянина-предпринимателя, „плантатора“ соответствовал новый тип крестьянина, не бессмысленно покорного и не бессмысленно бунтовавшего, а чуявшего что где-то есть новая „правда“, и отыскивавшего ощупью эту „правду“. „Параллельно с изменением системы помещичьего управления, изменяется и взгляд крестьян на помещиков, — читаем мы в той же записке Самарина. — Прежняя безропотная покорность крепостных людей, доходившая иногда до изумительного самозабвения, слабеет с каждым поколением, несмотря на то, что суровость и жестокость в личном обращении с ними еще быстрее смягчается“ *). „Народ стал сильно портиться, — слышим мы беспрестанно из уст старых помещиков и приказчиков. — Это значит, что теперь уже редко проходят безнаказанно такие злоупотребления, против которых лет 50 назад никто не стал бы роптать, и очень часто распоряжения и не противные законам, но стеснительные или придирчивые, встречают прямое сопротивление...“

„В какой численности возрастают ежегодно уголовные дела о неповиновении крестьян, возмущениях, убийствах и покушениях на жизнь помещиков и управляющих, это может быть точно известно только тем, кому доступны официальные статистические материалы, — замечает по этому поводу Самарин. — Но несомненно, что число их увеличивается и что многие дела этого рода, как, например, неудавшиеся покушения, поджоги и др., заглушаются на местах и до высшего правительства не доходят“. Мы уже знаем теперь, что относительно прямых попыток восстания Самарин был вполне прав. Убийств помещиков официально зарегистрировано за 19 лет, с 1835 по 1854 г. — 144, а покушений — 75 **). Уже одно сопоставление этих двух цифр ясно показывает, что Самарин был прав и в другом своем предположении, „что большинство покушений в официальную статистику не попадало“, на практике число неудачных покушений, по всей вероятности, раз в десять превышало число удачных. И уже, конечно, в очень редких случаях доходили до

*) Здесь автор, конечно, имеет в виду не ослабление гнета крепостного права, как системы, а уменьшение случаев „рукоприкладства“.

**) В. Семевский. — „Крестьянский вопрос в России. II, 583—4.

начальства те покушения особого рода, о которых сейчас же вслед за этим упоминает наш автор: „По частным, но достоверным, сведениям, в последние годы в некоторых подмосковных губерниях, Тульской, Рязанской, Тверской, крестьяне стали довольно часто подвергать своих помещиков телесным исправительным наказаниям, чего прежде не бывало. Едва ли это не самый верный признак падения нравственного авторитета помещичьей власти". Статистики поротых помещиков, конечно, мы не найдем, но наличность и распространенность таких случаев (один из них, благодаря Герцену, был увековечен в русской литературе) засвидетельствованы тем, что некоторые из них попали даже в официальные документы *).

Мы сказали, что крестьяне искали нового права „ощупью". Быть может, более тщательные поиски в мемуарах и переписке людей, близко стоявших тогда к крестьянству, анализ сектантского движения и т. п. и позволят когда-нибудь восстановить революционную идеологию крепостной массы, поскольку она вырабатывалась ею самою. Пока приходится на слово верить современникам, дающим незаметно для самих себя, под видом политического вероисповедания крестьянства то, что „народ", по их мнению, должен был исповедывать. С такой оговоркой, например, приходится принимать очень стройную формулировку „народной" идеологии у Самарина. „Крепостное сословие, хотя, конечно, не сознает отчетливо, зато живо ощущает историческую беззаконность своего обидного положения и по естественному порядку вещей ставит его в вину дворянству. Дворянство разлучило простой народ с царем. Ставший поперек между ними, оно заслоняет народ от царя и не допускает до него народных жалоб и надежд. Оно же скрывает от народа светлый облик царя, и оттого слово последнего или не доходит до простых людей, или доходит искаженным. Но народ любит царя и рвется к нему. И царь, со своей стороны, с любовью смотрит на народ, издавна замышляя его избавление, когда-нибудь они откликнутся и через головы дворян протянут руки друг другу. Таковы представления и постепенно зреющие надежды 11 миллионов

*) См. назв. соч. В. Семевского, стр. 851.

людей. Что помешает перейти в дело?“ Но прежде всего таково было представление славянофилов, к которым принадлежал Самарин. И трудно сказать, ближе ли оно к действительно „народным воззрениям“, чем характеристика петрашевца Ястржембского, уверявшего, что „принципом зла простой народ непременно понимает государя“, и ссылавшегося при этом на слова одного крестьянина, что помещики „хотели было их освободить, да государь не захотел“. Опыт последних лет должен был достаточно убедить, что между „народом“ и „интеллигенцией“ далеко нет той психологической пропасти, которую одни боялись, а другие желали видеть, и что „народ“ очень легко усваивает себе интеллигентскую идеологию, если она отвечает его, уже сознанным им, интересам.

Идеология революционной интеллигенции сороковых годов, поскольку она была демократической и антикрепостнической, вероятно могла бы быть усвоена волнующимися массами не труднее, чем это случилось полвека спустя. Эта возможность сближения интеллигентской и народной революции очень беспокоила Николая Павловича и его полицию. И нельзя не сказать, что в данном случае последняя обнаружила большую чуткость. Она, несомненно, лучше поняла *возможное* революционное значение петрашевцев, чем это сделали некоторые позднейшие их историки.

В настоящее время едва ли может быть спор о том, что Петрашевскому не удалось основать серьезного конспиративного общества: „заговора“ в настоящем смысле слова не было. Близко посвященные в дело люди знали это тогда же. „Впрочем, все означенные собрания, отличавшиеся вообще духом, противным правительству, и стремлением к изменению существующего порякда, не обнаруживают единства действий — доносил императору Николаю генерал-аудиториат. — К разряду организованных тайных обществ они тоже не принадлежали и чтобы имели сношения в России, не доказывается никакими положительными данными“. Один новейший историк сделал из этого вывод, что петрашевцы представляли собою „общество литературных журфиксов“. Большое подспорье такому взгляду представляют и позднейшие воспоминания некоторых петрашевцев, под старость

отрекшихся от своих „увлечений“ и, естественно, представлявших все дело именно „увлечением“. В памяти читающей публики крепко засела шутливая характеристика Достоевского, сказавшего как-то, что его товарищи, „чуть ли не собирались переводить самого Фурье“. Рассматривать фурьеризм петрашевцев, как нечто серьезное, конечно, не приходится. Место этим „увлечениям“ интеллигенции 40-х годов, конечно, в истории литературы, а не в истории общественных движений. Но даже сыщики Николая скоро должны были понять, что суть дела здесь совсем не в фурьеризме. Следственная комиссия не один раз возвращается к тому, что тремя главными вопросами, дебатировавшимися на знаменитых „пятницах“, были: освобождение крестьян, свобода книгопечатания и преобразование судопроизводства. По словам генерал-аудиториата, разбиравшего дело, „сам Буташевич-Петрашевский преимущественно возбуждал вопрос о перемене судопроизводства и об освобождении крестьян“. В разговоре двух петрашевцев, наиболее преисполненных „бунтарским духом“, Черносвитова и Спешнева (автора известной „подписки“, предназначавшейся для членов неосуществившегося тайного общества), оба сошлись на том, что самая полезная реформа в России — „реформа крепостного состояния“. Только Спешнев рассчитывал для этой цели на заговор, Черносвитов — на бунт уральских заводов, где он брался поднять 400 тысяч народа, а Петрашевский больше уповал на легальные средства. Легальные приемы, которые он надеялся пустить в ход, глубоко характерны. То он рассчитывал на демократизацию местного управления, начав с использования только что проведенной тогда в Петербурге и Москве городской реформы. В письме к одному провинциальному знакомому он рекомендует организовать кампанию прошений от местных обывателей в министерство внутренних дел о введении и у них городского управления по петербургскому образцу. „Через это в заведывании городского хозяйства должны принять участие те лица в уездных и губернских городах, которые сравнительно с другими, т. е. с массою населения, могли быть названы умственною аристократией, и их участие весьма благодетельно должно быть для общественного

развития". То он надеется подстрекнуть предпринимательские аппетиты дворянства и тем усилить в его среде буржуазное течение насчет крепостнического. В „Записке о способах увеличения ценности дворянских или населенных имений", распространявшейся Петрашевским во время дворянских выборов, он первый из таких „способов" видит в замене привилегированной дворянской земельной собственности — собственностью буржуазной.

„Предоставление купцам права приобретать земли, под условием делать обязанными крестьян, на сих землях находящихся, вместе с правом голоса и участия в дворянских собраниях в качестве землевладельцев", по его словам, настолько увеличит спрос на землю, что от одного этого „должны обратиться на приобретение земель до 500 миллионов рублей ассигнациями и даже более купеческих капиталов". То, что носилось в уме Петрашевского, было, как мы знаем, осуществлено земской реформой Александра II, заменившей сословный ценз для участия в местных делах цензом имущественным, — главным образом, по земле. А последним из „способов" оказывается „улучшение форм судопроизводства и надзора за административными или исполнительными властями. Таковые усовершенствования не могут не иметь влияния на ценность имений, как на все другое через усиление кредита, наличного доверия между гражданами".

Как видим, практическая программа Петрашевского была весьма далека от всякого утопизма. Всего семь лет спустя, о „трех главных вопросах" заговорил такой закоренелый консерватор, как Погодин, в одной из своих записок *).

Петрашевцы добивались того, что было необходимо для складывавшегося буржуазного общества, как вода для рыбы. И именно этим они были опасны для николаевского

*) „Освободи от излишних стеснений печать, в которой не позволяется теперь употреблять даже выражение „общего блага",— взывал он к Николаю I. — Не книги опасны, а события... Печатной артиллерии европейской мы должны отвечать так же, как осадным пексанам Севастополя, а нам не позволяют рта разинуть в защиту родной земли". А о крепостном праве он же писал: „Помещичье спасенье—в дурном управлении государственных имуществ... Но улучшись жизнь казенного крестьянина—будьте уверены, заварится каша крутая.

режима, и именно поэтому защитники последнего боялись, и совершенно правильно, их влияния на широкие общественные круги. Николай привык к дворянскому либерализму — он с ним справился 14 декабря и неустанно наблюдал за ним через своих жандармов. Здесь кроме „безвредного злоречия“, о котором говорил Пушкин, теперь нечего было опасаться: люди, способные на большее, или были далеко, или стояли совсем в других рядах. Несколько больше боялся он крестьянского бунта, „бессмысленного и беспощадного“. Но хаотичность крестьянского движения ручалась, что ему не справиться с прочной полицейской организацией. И вот находились люди, которые были готовы внести смысл и организацию в пугачевщину. Люди эти обнаруживали опасную близость к настоящей, не славянофильской, народной идеологии. „Все вы идете смотреть, как наказывают мужиков, что посмели ослушаться господина или убили его, — писал петрашевец Филиппов в своих „Десяти заповедях“, назначенных, несомненно, для самого широкого распространения. — Разве вы не понимаете, что они исполнили волю божию и что принимают наказание, как мученики за своих ближних? Разве не будете защищаться, коли нападут на вас разбойники, а помещик, обижающий крестьян своих, не хуже ли он разбойника?“. „И теперь еще пробегает холодный трепет по жилам при воспоминании о виденном мною кусочке хлеба, которым питаются крестьяне Витебской губернии, — писал в своем дневнике другой петрашевец, поручик Момбели, — мы знаем уже, что этот хлеб витебские крестьяне шли „показать царю“. „Мука вовсе не вошла в его состав: он состоит из мякины, соломы и еще какой-то травы, не тяжелее пуху, и видом похож на высохший конский навоз, сильно перемешанный с соломой. Хотя противник всякого физического наказания, не желал бы чадолюбивого императора в продолжение нескольких недель посадить на

Да и теперь, не убивают ли ежегодно до тридцати помещиков... Ведь это все местные революции, которым недостает только связи, чтобы получить значение особого рода. Они усмиряются порознь; несчастные крестьяне, которые, выведенные из терпения, берут нож в руки, подвергаются затем кнуту и каторжной работе в сибирских рудниках, неужели не заслуживают лучшей участи?“. (См. Барсуков, цит. соч. XIII, 195, X 166 и др.).

пищу витебских крестьян. Как странно устроен свет: один мерзкий человек, и сколько он может сделать!..“

Пусть эти люди пока только „болтали“, но в их лице крестьянская революция могла найти кадр сознательных вождей, тем более опасных, что они были связаны с этой массой не только общностью симпатий и антипатий, но и целым рядом незаметных социальных переходов. Состав вновь открытого „тайного общества“ чрезвычайно смутил сыщиков императора Николая; перед ними развернулась совсем непривычная для их взгляда картина. „Обыкновенные заговоры бывают большей частью из людей однородных, более или менее близких между собою по общественному положению,—писал в своем донесении главный шпион, действительный статский советник Липранди.—Например, в заговоре 1825 г. участвовали исключительво дворяне и притом преимущественно военные. Тут же, напротив, с гвардейскими офицерами и чиновниками министерства иностранных дел рядом находятся не кончившие курса студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком“. Характерно, что и сам Петрашевслий рассчитывал в провинции именно на этот слой, который мы теперь назвали бы мелкой буржуазией, или (кто не любит марксистских терминов) „разночинной интеллигенцией“. Пытаясь конкретнее определить свою „умственную аристократию“, он дает такой перечень: „кроме купцов, учителя училищ, доктора, аптекаря,— попы, отставные небогатые чиновники“. Дальнейшее развитие капитализма должно было сюда прибавить инженеров и техников всякого рода, земских статистиков, агрономов, железнодорожных и банковских служащих: но уже в 40-х г.г. социальный субстрат будущего революционного движения определился, по крайней мере, отчасти. Новое революционное движение ни в коем случае не могло уже быть дворянским, за отсутствием сколько-нибудь значительного пролетариата,— и ему не дали сделаться крестьянским, во-время заметив опасность. Оно и осталось на тридцать лет движением мелко-буржуазной, городской интеллигенции.

Опасение переворота снизу имело два последствия. Одно мы уже указали: оно состояло в ускорении темпа, который приняли реформы 60-х годов. Этот ускоренный темп создал

у некоторой части русского общества иллюзию необыкновенной силы и стремительности буржуазно-либерального движения. Казалось, что до „увенчания здания“ уже очень недалеко. На самом деле дворянство очень скоро раскаялось и в тех немногих уступках, которые оно сделало, и совсем не расположено было к дальнейшим. Что же касается „увенчания здания“, то — какими бы подчас „недоразумениями“ между Александром II и его дворянством ни была ознаменована реформа 19 февраля — прогрессивная часть дворянства, да и сама крупная буржуазия на этот раз были против всякого ослабления центральной власти. И в этой солидаризации имущих классов с самодержавием заключается второе последствие опасности снизу, почуянной общественными верхами в конце 40-х г.г. Два раза потом имела место в русской истории подобная же солидаризация — в 80-х г.г. и на наших глазах в начале XX века. И всякий раз была причина одна и та же: угроза демократической революции.

Для настроения нашей буржуазно-помещичьей интеллигенции накануне крестьянской реформы характерно прежде всего отношение этой интеллигенции к социализму. Еще недавно предмет увлечения не в одних мелко-буржуазных кругах, теперь он фигурирует в роли пугала, которое выставляют перед самодержавием, чтобы толкнуть последнее на путь истинный. Говоря о вредном влиянии крепостного права на народное хозяйство, Самарин не может припомнить ничего лучше тех возражений, какие делались во Франции в 1848 году против „торжествовавших“ якобы тогда социалистов. „Мы рукоплескали издали мужественным противникам в то время торжествовавшей школы, — сообщает Самарин своему высокопоставленному читателю*) не без явной натяжки, — и не находили слов для осуждения социалистов“. Но Самарин — славянофил. Быть может, кроме того, такие фразы были своего рода „благочестивым обманом“, рассчитанным на то, чтобы снискать благоволение его специальной публики. Но вот что писал Кавелин в статье, уже предназначенной для печати и появившейся в самом

*) Его „записка“ предназначалась, как известно, не для печати (по тогдашним цензурным условиям, она и не могла быть напечатана), а для дворянства и высщих административных „сфер“.

разгаре „эпохи реформ": „Различие сословий, различное участие их в государственной и общественной жизни есть явление, общее всему человеческому роду, от начала мира до нашего времени... Ясно, что неравенство сословий дано не обстоятельствами, а самой природой человека и человеческого общества, и причину его открыть не трудно. Люди, по физической природе, по умственным и другим своим способностям, не равны между собою со дня рождения. Из этого прирожденного неравенства вытекает и неравенство внешней их деятельности: одни предприимчивы, изобретательны, неутомимы, другие — нет; одни делают много, скоро, хорошо другие мало, медленно и плохо. То, что человек творит во внешнем мире, становится его собственностью, которую он оставляет после себя детям или завещает близким; отсюда новый источник неравенства. Одни, создавая много, имеют большую собственность; другие, творя мало, имеют мало принадлежащих им вещей или вовсе не имеют собственности... Отчего почти у всех народов рано или поздно создаются *необузданные теории равенства, наполняющие историю слезами и кровью*, и безусловно отрицающие всякое неравенство, которое, однако, как мы видели, есть основной закон человеческих обществ" *). Дворяне, по предположению Кавелина, сетуют на то, что крестьяне освобождены с землею (мы после увидим, что правильно понятым интересам дворянства отвечала именно эта форма освобождения). Это не беда, это даже очень хорошо: „этим мы заранее навсегда избавляемся от голодного пролетариата и *неразрывно с ним связанных мечтательных теорий имущественного равенства*, от непримиримой зависти и ненависти к высшим классам и от последнего их результата — социальной революции"... **)

Вариации на эту же тему мы встречаем и у Чичерина — и, уж конечно, у Погодина — крайняя правая и крайняя левая буржуазно-помещичьего движения в этом случае сходились. Мы не встречаем их, конечно, у Герцена; но Герцен уже в половине 50-х годов был даже для Кавелина „человек

*) Сочинения, т. II, стр. 111—114 (курсив наш).

**) Ibid. 128 (курсив наш).

ожесточенный, не сладивший со своим самолюбием" и только что не „злонамеренный" *). Манчестерская доктрина, однако, господствовала в эти дни и над умами славянофилов и над умами западников. „Ценность всякого предмета, выражая отношение запроса к предложению, устанавливается при условии полной свободы договаривающихся сторон, — читаем мы у Самарина. — Чтобы поднять в России цены на хлеб и тем возвысить благосостояние владельцев и крестьян", нужно „свободное установление на хлебном рынке того минимума, ниже которого цены на хлеб упасть не могут" — вторит ему Кавелин, повторяя, в свою очередь, Заблоцкого-Десятовского... Свобода торговли — душа всех свобод для просвещенного буржуа — всегда была одной из необходимых исходных точек для эмансипационных проектов. Но из свободы торговли западная буржуазия извлекла все свободы. Так ли было у нас? Политические взгляды Самарина нам уже известны; они были весьма далеки от политического либерализма; несколько позже, когда самодержавию стали грозить целых два противника — дворянская фронда справа и вновь поднявшаяся волна мелко-буржуазной, „интеллигентской" революции слева, он нашел случай еще раз и еще более энергично подчеркнуть свою солидарность со старым политическим порядком, смешав в одну кучу всех его врагов. В начале 60-х годов он писал (в письме М. А. Милютиной): „Теперь, как 200 лет назад, на всей русской земле есть только две живые силы: личная власть наверху и сельская община на противоположном конце: но эти две силы, вместо того, чтобы быть соединенными, разделены всеми посредствующими слоями. Эта тупая среда, лишенная всяких корней в народе и в течение веков цеплявшаяся за вершину, начинает храбриться и дерзко кривляться перед своей собственной, единственной подпорой (доказательство — дворянские собрания, университеты, пресса и т. д.). Ее крикливые выходки напрасно пугают власть и раздражают массы. Власть отступает, делает уступку за уступкой без всякой пользы для общества, которое дразнит власть из удовольствия ее дразнить. Но это не может длиться долго, иначе нельзя избежать сближения двух полюсов —

*) Соч. Кавелина, 1174.

самодержавия и простонародья, сближения, которое сметет и раздавит все, что находится в промежутке...“ „Конституция—вот что составляет теперь предмет тайных и явных мечтаний и горячих надежд дворян,—писал Кавелин в 1862 г. Это теперь самая ходячая и любимая мысль высшего сословия“. Как же он сам относится к этой мысли? „Но возможны ли и достижимы ли у нас политические гарантии в настоящее время?.. Мы глубоко убеждены, что нет; а следовательно, и мечтать о них теперь нечего“. Дальше идет довольно сбивчивое доказательство этого: оказывается, что „основных стихий народа у нас две: крестьяне и помещики“; первые слишком невежественны, чтобы воспользоваться политической свободой, а дворянская конституция встретила бы „единодушное противодействие не только со стороны правительства, но и со стороны массы народа и всего просвещенного, либерального в России“. Откуда выпрыгнула эта последняя, самая внушительная, сила—просвещенного либерализма, — тогда как раньше констатировалось, только что перед этим, что „о среднем сословии нечего и говорить“ — этого, вероятно, и сам Кавелин не сумел бы объяснить. Одно было само по себе ясно: крепостническую конституцию нельзя было вырабатывать при том настроении массы народа, которое ближайшим образом и привело к 19 февраля. Конституция же не крепостническая привела бы к тому, что, говоря словами Кавелина, сказанными им в другом месте и по другому поводу—„грубое, невежественное большинство заглушило бы в управлении и общежитии просвещенное меньшинство...“ А потому—не надо никакой конституции...

Форма грядущего переворота была дана: он должен был отлиться в акт самодержавной власти, поддержанный дворянским обществом. При такой форме он не мог быть „доведен до конца“: раскрепощение земли не должно было еще привести к освобождению человека. Мы увидим впоследствии, что и раскрепощению земли суждено было остаться далеко неполным. Вместо нового костюма, о котором мечтали некоторые, Россия должна была получить несколько довольно прочных заплат на старый. Крайняя левая буржуазной оппозиции должна была с этим примириться, если она хотела, чтобы воз вообще сдвинулся с места.

Герцен объявил либерализм „экзотическим цветком“, который „не может укорениться на русской почве“. Взамен подлинной гражданской свободы, которую „простому народу“ так же не удалось увидеть, как дворянству конституцию, мужика утешали тем, что он — „человек будущего“. В настоящем же все дело должно было быть совершенно дворянскими руками. „Пусть правительство только позволит дворянам прямо и открыто заняться этим вопросом,— писал Герцен в 1853 году,—пусть разрешит всем, кто хочет, составление обществ, товариществ для выкупа крестьян, для помощи освобождающимся...“ Царь разрешает, дворянство „занимается“ — такова схема ликвидации крепостного права у самого радикального и самого европейского русского дворянства 50-х годов. Как сейчас увидим, схема была угадана очень верно: но верно были угаданы и возможные результаты такого хода дела. Один из двух исходов, который предвидит Герцен для самодержавия, заключался в том, чтобы „переделаться в демократическое и социальное самовластье, что, может, не совершенно невозможно“. Удачно уклонившись от опасного опыта демократической революции, правящие классы должны были считаться с перспективою, что самодержавие не только не ослабеет, а, наоборот, окрепнет в результате реформы; что сохранение социального преобладания дворянства будет куплено тяжелой ценой отказа от всякой возможности стать когда-нибудь политической силой. И, конечно, лишь немногие из дворянской „левой“ могли утешать себя своеобразным максимализмом Герцена, уверявшего, что „Россия никогда не будет juste milieu“ *), что „Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими; что русскому народу незачем „проливать кровь свою для достижения тех полурешений, до которых мы (европейцы) дошли и которых вся важность состоит в том, что через них мы дошли до иных вопросов, до новых стремлений“ — также как лишь очень немногие согласились бы с Герценом, что „в то время, как в Европе социализм принимается за знак беспорядка и ужасов, у нас, напротив, он является радугой, пророчащей

*) „Золотой серединой“.

будущее народное развитие“ *). Это было хорошо для Герцена, но это совсем не годилось для „реальных политиков“— назывались ли они Самариными или Кавелиными.

Но полуреформа могла привести лишь к полусвободе и полубуржуазному режиму. Во всех случаях, где крепостное право уничтожалось путем реформы сверху, от него оставались более или менее значительные куски. Только там, где оно подрывалось снизу, медленными, частичными завоеваниями народной массы, или там, где оно падало одновременно с демократическим переворотом (первое, как известно, имело место во Франции и в Англии, в средние века, второе — в XIII в. в Тоскане), только там в деревне торжествовало, действительно, новое право. У нас этого быть не могло. И заранее можно было предвидеть, что крестьянин останется полукрепостным, и что дело сведется к замене в деревне феодального „внеэкономического принуждения“ буржуазным экономическим принуждением в минимальных размерах, необходимых для того, чтобы парализовать невыгодные для помещика результаты барщины. Мы уже упоминали, что новый тип хозяйства был открыт одним помещиком усилиями собственного ума задолго до того, как дворянские комитеты и комиссии выработали этот тип сообща, как общую норму. Этим Колумбом пореформенной России был А. С. Хомяков. В конце 40-х годов он поставил себе задачей заменить в своих деревнях крепостные отношения договорными, не прибегая, однако, к формальному освобождению крестьян по существовавшим тогда законам (1803 и 1842 годов), так как ни один из них не отвечал его требованиям. В 1850 году он писал уже одному из своих знакомых, что ему „удалось в одной деревне сделать ряду с крестьянами“, а еще через два года он говорил уже о „полном успехе его сделок с крестьянами“. В чем же заключалась эта ряда? Хомякову нужно было поставить своих крестьян в необходимость работать на него, не прибегая при этом к прямому принуждению и избегая тем всех невыгод барщины. Он этого достиг тем, что, отдав в пользование крестьянам меньшую часть всей культурной

*) Сочинения Герцена (женевское издание) т. V, стр. 198, 209, 215, 233, 279, 283, 289, 292.

площади (около $^1/_8$), он обложил их чрезвычайно высоким оброком. При этом взыскание оброка должно было производиться „с величайшей строгостью, посредством продажи имущества, скота и т. д.“—„в этом деле неумолимая и почти жестокая строгость есть именно милосердие“. Понятно, что крестьянин, которому некуда было податься и который был привязан к деревне своим маленьким наделом, вынужден был продавать свою рабочую силу в барскую экономию. И Хомяков с великим удовольствием мог извещать два года спустя своего приятеля Кошелева, что он намерен вести „все хозяйство наймом“. Барщина была преодолена.

Мы увидим впоследствии, что хомяковские имения 50-х годов с их тремя основными признаками: маленьким наделом крестьян, высокими податями и повинностями и „неумолимым“ способом их собирания — были очень точным прообразом помещичьего имения средней полосы 60—70-х годов. Русский крестьянин перестал быть крепостным, но он не сделался и свободным мелким собственником. Из белого негра он превратился в батрака с наделом.

II

Губернские комитеты.

Мы видели, что объективно крестьянская реформа с логической неизбежностью вытекала из основного факта русской истории XIX века — развития капитализма на русской почве. Это положение теперь можно считать банальным; но читатель извинит нас за повторение этой банальности, если вспомнит, что еще на свежей памяти читающего поколения, всего за десять-пятнадцать лет назад, это банальное положение было самой свежей ересью; а что еще немного ранее исследователь „крестьянского вопроса в России“ нашел нужным отвести в генезисе крестьянской реформы моральным чувствованиям русских литераторов и прожектерству русских чиновников гораздо больше места, чем объективным условиям хозяйственнго развития. Если у нас „нова рожденьем знатность“, то научное отношение к русскому недавнему прошлому еще новее. Мы видели затем, что из этого объективного положения с такой же логической неизбежностью вытекало господство буржуазной идеологии не только

среди буржуазии в собственном смысле, но и среди того класса, который, по принятой классификации, называется феодальным, и, как таковой, противополагается буржуазии. Русское манчестерство в дворянских кругах 50-х годов было едва ли даже не сильнее, чем в купеческих. Но положение русского дворянина было объективно противоречивым в данном случае: ибо, с одной стороны, он должен был вносить приемы буржуазного хозяйства в крепостную обстановку; с другой стороны, он должен был с продуктами своего крепостного хозяйства оспаривать место на рынке у капиталистических производителей. Это объективное противоречие не могло не отражаться на его идеологии: став буржуа, он не перестал быть феодалом; желая буржуазного строя, он в то же время оставался верен самодержавию. Он мог бы сказать, что в его груди живут две души: одна — жаждет свободы, другая — нуждается в рабстве. Разрешению этого противоречия посвящена вся последующая история русских владеющих классов: ибо те же две души, хотя и в менее дифференцированном виде, жили в груди и подлинного русского буржуа той эпохи. Буржуазии периода первоначального накопления всюду была нужна сильная власть — Англия времени Тюдоров, Франция Людовика XIV и Германия первой половины XIX века в этом отношении не отличаются от России Александра II и Александра III. Но всюду передовые слои буржуазии, чем дальше, тем сильнее, чувствовали неизбежность крушения абсолютизма именно в процессе капиталистического развития. Прибавьте к этому, что общая опасность взрыва снизу всегда в такие времена сплачивает всех власть имущих и владеющих, что в этом отношении Россия 50-х годов девятнадцатого столетия ничем не отличалась от Англии времен крестьянских бунтов, и что только преодолев эту опасность, можно было без риска ослабить гнет сверху, и вы получите приблизительно точную картину политического настроения русского общества накануне крестьянской реформы. Его нельзя назвать ни либеральным, ни абсолютистским, но оно было одновременно и тем и другим. В наши дни такое смешение противоположностей — остаток старины — представлял собою „союз 17 октября“: но после 1905 г. из владеющей массы уже

определенно выделились два крыла, одно последовательно буржуазное и в политической области, другое столь же последовательно феодальное. Критика этих крыльев и более яркий свет политического сознания, освещающий всю сцену, лишают новейший октябризм той наивности и непосредственности, какою отличалось сходное настроение конца 50-х годов. Тогдашние прогрессивные дворяне были „искренними октябристами“: сочетание слов, которое для нас звучит теперь несколько странно. Но так как тогдашнее правительство было гораздо правее даже самого правого из современных нам октябристов, то коллизия между самой благонамеренной буржуазностью и чисто феодальным духом традиционной власти получилась довольно острая. Благодаря этой коллизии, в истории крестьянского дела нашелся момент, когда дворянское эмансипационное движение оказалось субъективно-либеральным — и это придало реформе 19 февраля тот налет политического идеализма, которого по существу дела в ней не следовало бы ожидать. Правда, дальше налета, дальше слов дело не пошло, — как оно и не могло пойти дальше. Но и слов было достаточно, чтобы в глазах доверчивого потомства капитальный ремонт старого режима показался зарей новой эры. И 19 февраля, как 14 декабря 1825 года, обросло своего рода легендой, разрушившейся — далеко не окончательно, притом — лишь на наших глазах.

В центре этой легенды стоял так называемый „общественный характер“ реформы — резко противополагаемый „бюрократическому характеру“ крестьянского дела при Николае I. Выходит так, что последний как будто стремился освободить крестьян без содействия правящего класса России, — почему и потерпел неудачу, — а Александр II, поняв ошибку своего предшественника, привлек „общество“ к участию в деле, почему и довел его благополучно до конца. Но в чем можно было обвинить Николая Павловича всего меньше, так это в пренебрежении к классовым интересам помещиков и в невнимательном отношении к „общественному мнению“ дворянства. Перевод крестьян на „обязанное“ положение (по закону, изданному 2 апреля 1842 года) первоначально, как известно, предполагался в виде общей

меры. Николай отказался от этого плана под влиянием того ропота, который раздался из широких дворянских кругов при первых слухах о предполагаемой реформе. Делать своих крестьян „обязанными“ было предоставлено доброй воле помещика, причем был издан специальный циркуляр, разъяснявший, что эту волю правительство отнюдь не намерено стеснять. Но Николай Павлович не потерял надежды склонить на свою сторону помещиков путем убеждений,— и то, как он за это принялся, достаточно ясно показывает, что его собственная „железная воля“ становилась мягкою, как воск, при соприкосновении с интересами „первенствующего в империи сословия“. Его разговор с депутацией смоленских дворян (в 1847 году) мог бы служить образцом „внутренней дипломатии“. Николай начал с комплиментов смоленскому дворянству за его „чувства и рыцарские правила“. Потом заговорил о своем намерении провести шоссе, которое для губернии будет очень полезно, усовершенствовать водные сообщения, связывавшие Смоленскую губернию с Ригой. И только после всех этих приятных вещей решился коснуться неприятной — со всевозможными оговорками подошел к крестьянскому вопросу. Несколько раз подчеркнув, что он говорит как „первый дворянин в государстве“, он мотивировал свое вмешательство в этот вопрос точно так же, как девять лет спустя делал это его сын: интересами самого дворянства. В переходе крестьян на „обязанное“ положение, по его словам, заключалась единственная возможность предотвратить „крутой перелом“. Отнюдь не запирая вопроса для дворянского обсуждения, он просил смольнян только поговорить об этом „келейно“ — причем келейность нужна была опять-таки в интересах того же дворянства,— неосторожная огласка могла взволновать прежде времени крепостную массу. Ответ смоленских дворян, после их „келейных“ совещаний, показывал, что они вовсе не расположены идти навстречу намерениям своего государя *).

*) Смоленский предводитель, кн. Друцкой-Соколинский, такими красками живописал экономические результаты крестьянской реформы: „... Количество произведений с помещичьих полей, главнейших источников хлебных запасов, уменьшится до того, что их недостанет не только для отпуска за границу, но и для внутреннего потребления

И, как известно, последний не сделал ни одной попытки принудить дворянство повиноваться его воле. Напротив, после февральской революции во Франции он даже почувствовал потребность торжественно заявить, что эта воля нисколько не расходится с волею владельцев крепостных людей. Это заявление (в речи к депутатам петербургского дворянства, явившимся к нему в конце 1848 года с выражением готовности дворян помочь Николаю в борьбе с европейской революцией) так характерно, что мы позволим себе привести его здесь целиком. „Господа, я не боюсь внешних врагов, — говорил Николай Павлович. — Но у меня есть внутренние, более опасные. Против них-то мы должны вооружиться и стараться сохранить себя, и в этом я полагаюсь на вас. Благодарю моих сотоварищей-дворян здешней губернии за адрес, который они хотели мне поднести. В чувствах их и привязанности ко мне и к отечеству я не сомневаюсь и за удовольствие поставляю принадлежать к их сословию, потому что я и жена моя — мы тоже помещики петербургские. Между мною и ими, вообще дворянами, было недоразумение, может быть, и неудовольствие и даже огорчение; теперь должно быть все забыто. Мы должны крепко и дружно взяться за руки, стать около престола и, во главе вас, я непобедим. Я уверен, что дворянство при первом воззвании готово пожертвовать мне и отечеству не только имением, но и жизнью; но в настоящее время помощь мне не нужна: я надеюсь управиться своими средствами, С горестью, однако же, я должен сказать, что из 50 дворян я считаю 15 очень хороших, 25 посредственных, а 10 негодных. За этими-то вы, предводители, должны надзирать и принимать меры к их исправлению. В последнее время распустили слухи о какой-то эманципации. Эта мысль и самые толки с ней нелепы. В первом моем манифесте об обязанных крестьянах я объявил ясно и определительно, что земля есть собственность помещика; это такое его право, которое никогда не должно быть нарушено. Я всегда действую откровенно, и потому все, что

в государстве. Скотоводство и коннозаводство уничтожатся, леса от недосмотра подвергнутся истреблению... Фабрики и заводы лишатся в обедневших помещиках своих потребителей. Сколько погибнет капиталов, какое сделается замешательство во всей государственной экономии...“

я вам теперь говорил, вы можете передать всем и каждому". Одновременно с этим Николай воспользовался первым подходящим случаем, чтобы официально, на бумаге, заявить, что он „отнюдь не имеет намерения изменить настоящих отношений крестьян помещичьих с их владельцами" *).

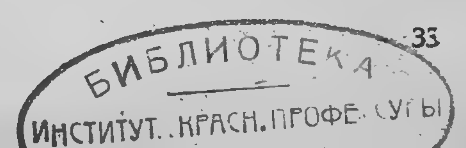
Смысл „реакции", наступившей в крестьянском вопросе после 1848 г., становится таким образом совершенно понятным: дворянство в конце 40-х годов далеко еще не было во всей своей массе ни проникнуто убеждением в экономической неизбежности эмансипации, ни охвачено страхом, что крестьяне начнут освобождаться сами, если освобождение сверху замедлится. Волнения первой половины 50-х годов как раз усилили это последнее чувство. В конце Крымской войны, по авторитетному свидетельству Кошелева, многие дворяне „готовы были согласиться на большие пожертвования и на всякое, самое для них убыточное, прекращение крепостного состояния, лишь бы освободили их от страха, возбужденного в них возможностью провозглашения вольности при вторжении врагов в наши пределы". „Мне случалось тогда видеть несколько поборников крепостного права на людей, уговаривавших меня, как можно скорее окончить и подать мой проект освобождения крестьян",—добавляет он. Такая полоса страха не могла пройти даром,— как бы ни были „позабыты" страхи времен войны через два года, как несколько субъективно замечает дальше Кошелев. В 1857 году крестьянское дело встретило иную психологическую почву, нежели в 1842, или 1848 г., и этим достаточно объясняется как „реакционность" Николая, так и либерализм его наследника и верного продолжателя его государственной традиции. Нетрудно было придать реформе „общественный характер", когда большая часть дворянского общества была на стороне реформы; и совсем невозможно было это сделать, когда большинство помещиков видело в освобождении крестьян нечто вроде второго татарского нашествия.

Другой вопрос: зачем нужно было правительству отступать от проторенной колеи „келейного" обсуждения? Классовые

*) По поводу представленной наследнику помещиком Огильви записки о крестьянском вопросе см. „Материалы для истории упразднения крепостного состояния" I, стр. 74—76.

интересы дворянства при Николае отнюдь не страдали от того, что дело было в руках бюрократии. „Келейное“ влияние помещиков и в реформе 19 февраля, как увидим дальше, было не менее действительно, чем влияние прямое и явное. Зачем понадобился правительству Александра II своего рода „конституционный зигзаг“? Что ему могло дать открытое обращение к дворянству? Мы очень погрешили бы против истины, если бы отнесли переворот на счет личной перемены, стали объяснять его изменившимися воззрениями Александра II и его министров. Новое царствование было верно традиции предшествующего. Оно началось с торжественного заявления правительства, очень напоминавшего только что цитированную речь Николая: „Всемилостивейший государь наш повелел мне ненарушимо охранять права, венценосными его предками дарованные дворянству“,—писал министр внутренних дел губернским предводителям дворянства шесть месяцев спустя после воцарения Александра II (в циркуляре от 28 августа 1855 года). Формальный приступ к крестьянскому делу был обставлен совершенно так же, как это бывало при Николае. Первый комитет, согласно николаевской традиции, был секретный: открывая его заседания (3 января 1857 года), государь пригласил присутствующих хранить все решения совещания „в величайшей тайне“. Даже впоследствии, когда дело получало само собою широкую огласку, всякое новое расширение этой огласки вызывало неудовольствие Александра Николаевича и стремление его чиновников зажать рот обществу. Когда в печати появилась (помимо желания автора) часть весьма благонамеренной записки Кавелина, трактовавшей о наделе, выкупке и тому подобных чисто деловых вещах, Александр II пришел в негодование. Министр иностранных дел, кн. Горчаков, по протекции которого Кавелин попал в преподаватели к наследнику, получил строгий нагоняй за такую рекомендацию *), и мятежный профессор был немедленно уволен от этой должности. Мало того: кавелинский инцидент послужил

*) Любопытнее всего, что Горчаков даже и не сам рекомендовал Кавелина, в этом был „виноват“ его приятель Титов; тем не менее Горчакову за одну „прикосновенность“ к этому делу пришлось выслушать выговор в совете министров.



непосредственным поводом к специальному циркуляру по цензуре, в котором последней ставилось на вид, что она пропускает иногда статьи, „где предлагаются не те начала, кои указаны правительством, излагается необходимость освободить крестьян вполне от всякой зависимости помещиков и даже от полицейской их власти“. Все подобное отныне должно было быть совершенно запрещено. В результате, после нескольких месяцев борьбы, „Русский Вестник“ с августа 1858 года закрыл свой „крестьянский отдел“, а „Сельское Благоустройство“, основанное Кошелевым специально ради обсуждения вопросов, связанных с реформою, и вовсе прекратилось (в начале 1859 года) „по причинам, совершенно от редакции не зависящим“, как заявляла последняя. Влачил свое существование — и то с затруднениями — только защищавший интересы помещиков „Журнал Землевладельцев“. Но и распространению мнений помещиков старались, по возможности, положить границу: журналы губернских комитетов запрещено было не только печатать в газетах и других повременных изданиях, но даже печатать и литографировать для членов комитетов. Последнее настолько стесняло занятия комитетов, что им пришлось начать борьбу за „свободу печати“, по крайней мере, в их внутреннем обиходе: министерство нехотя уступило. Кульминационным пунктом торжества николаевской традиции был знаменитый циркуляр министра внутренних дел, запрещавший даже дворянским собраниям входить в какие бы то ни было „суждения по предметам, до крестьянского вопроса касающимся (ноябрь 1859 года)“. И хотя циркуляр был непосредственно вызван некоторыми специальными осложнениями, которые мы впоследствии рассмотрим подробно, тем не менее в нем не приходится видеть чего-либо исключительного, напротив: он был вполне в духе всей „системы“.

Итак, когда Александр Николаевич в манифесте о восшествии на престол обещал быть орудием „желаний и видов“ „незабвенного нашего родителя“, он был, можно думать, вполне искренен и говорил отнюдь не фразу. „Келейное“ обсуждение крестьянского вопроса всего больше отвечало бы его вкусам и привычкам. И если в этом вопросе в конце концов восторжествовала, хотя отчасти, гласность и

„общественность“, то это отнюдь не было плодом его доброй воли, — как не по доброй воле он подарил России европейские судебные учреждения, искренно считая адвокатуру и суд присяжных „западными дурачествами *).

Если правительство Александра II на первых порах пошло „западным“ курсом, то это с его стороны не был обдуманный шаг и расчет: это было его несчастие; так это понималось и тогдашними правительственными деятелями, и вовсе не только „крепостниками“, а и такими, как В. А. Милютин. Вся история редакционных комиссий есть история попытки правительства вернуть себе раз утерянную инициативу: и не кто другой, как Милютин, в достижении этой цели видел главное условие успеха.

Одной из причин беспомощности правительства на первых шагах крестьянской реформы была, конечно, его совершенная теоретическая неподготовленность. „Нельзя не выразить удивления,—пишет один хорошо осведомленный современник,— что правительство, приступая к столь важному делу, нисколько не было к оному подготовлено и не ставило себе никакого предварительного плана действия“. Секретный комитет начал с того, что стал собирать бумаги своих предшественников, начиная с комитета 6 декабря 1826 г. Присоединив сюда частные проекты, ходившие по рукам (Кошелева, Самарина, Кавелина и др), секретарь комитета, Бутков, начал составлять из всего этого „синоптическую ведомость“, и решено было всякие занятия отложить, пока она не будет готова. С самого начала, таким образом, „бюрократии“ пришлось уподобиться студенту, готовящемуся к экзамену, и при этом искать еще себе репетиторов среди „общества“, в лице авторов частных проектов. Любопытно, что эта частная инициатива не только снабдила правительство теоретическими сведениями, но подсказала ему и ту практическую форму, в которую впоследствии должна была отлиться инициатива правительственная: план „редакционных комиссий“ мы находим прежде всего в одной частной записке Кавелина, причем проектируемый им примерный состав

*) Одобрительная „высочайшая“ отметка против соответствующей характеристики нового суда в записке галичанина Зубрицкого, представленной Александру в 1858 — 59 г.г.

комиссий тоже, в значительной части, осуществился впоследствии на деле. Так как и идея губернских комитетов была подсказана правительству частной инициативой, хотя и исходившей от лица чиновного (Н. А. Милютина), но состоявшего в сильном подозрении у власти в этом периоде *) и действовавшего в данном случае по поручению частного лица **), то чрезвычайно трудно сказать, что во всем предприятии может быть отнесено на долю собственно правительственного творчества. Это неуменье „шагу ступить" в начатом деле, конечно, сильно обусловливало искание поддержки со стороны общества. Но одним этим объяснять отступление от николаевской традиции было бы неосторожно. Русское правительство и раньше и после неоднократно имело случаи доказывать, что ученостью его не обморочишь и что у него достаточно мужества, чтобы браться за разрешение вопросов, к которым оно совершенно не подготовлено. Притом же сведущих людей из общества можно было добыть на гораздо менее убыточных условиях, не давая им решающего голоса, какой вначале несомненно был обещан губернским комитетам, а пригласив их в скромном качестве экспертов, как это и было впоследствии сделано для редакционных комиссий. Но когда начали действовать редакционные комиссии, в 1859 г., правительство уже твердо сидело в седле и было уверено, что оно сможет собственными силами довести дело до конца. За два года раньше этой уверенности у него далеко не было,— ему казалось, что почва под ним трясется, что катастрофа неминуема и близка, и эта-то атмосфера *испуга* ближайшим образом объясняет нам, почему николаевский режим, во всем цвете и красе стоявший еще в первые годы нового царствования, унизился до заискивания перед общественным мнением. Позже он раскаялся в своем падении и под конец дал этому общественному мнению ряд грубых пинков,

*) „Ты мне за него ручаешься",—внушительно сказал Александр II министру внутренних дел Ланскому, соглашаясь поручить Милютину обязанности товарища министра.

**) Вел. княгини Елены Павловны. Задумав освободить крестьян своего полтавского имения, Карловки, она обратилась за советом к Милютину — и тот присоветовал ей обсудить дело в комитете из местных землевладельцев.

начиная с упомянутого уже нами циркуляра, запрещавшего дворянам рассуждать о деле, которое всего ближе их касалось и кончая назначением в председатели редакционных комиссий человека, единственным достоинством которого было, что он не смел рассуждать вовсе. Но в начале страх брал верх над всем. Страх был преобладающим чувством тех, кто под покровом „строжайшей тайны“ призван был работать над освобождением крестьян в секретном комитете. „Мы начали великое дело,—писал председатель его, кн. Орлов, своему сыну,—я не обманываю себя и знаю, что оно не обойдется без беспорядков и возмущений, но не сомневаюсь, что с благоразумием мы совершим его успешно. Если будут восстания, надо быть беспощадно строгим, не теряя времени (il faudre sévir juste et fort)“.

„Восстание“, „мятеж“ — вот что прежде всего представлялось уму ближайшего доверенного лица императора при мысли об освобождении крестьян. И не веселее смотрел на дело сам император. Мрачные предчувствия сквозят из каждой фразы его знаменитого обращения к московским дворянам. „Было несколько случаев неповиновения крестьян помещикам“, — слышим мы в самом начале этой короткой речи. А через две фразы: „Мы живем в таком веке, что современем это (освобождение) должно случиться... Следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу“...*). „Спасайтесь, пока не поздно“ — так можно резюмировать это обращение. История не менее знаменитого, чем эта речь, проекта осуществить крестьянскую реформу при посредстве временных генерал-губернаторов с чрезвычайными полномочиями показывает, что Александр Николаевич не только пугал других, но и совершенно искренно боялся сам. Против этой меры было, как известно, и само министерство внутренних дел, к этому времени (лето 1858 года) уже убедившееся, что страхи перед бунтом совершенно неосновательны. Ланской подал Александру II записку, составленную Арцимовичем при ближайшем участии Милютина, где доказывалось весьма убедительно, что

*) Мы берем неофициальный текст, гораздо лучше сохранивший впечатление живой речи, нежели выглаженная впоследствии официальная редакция.

военное положение среди полного спокойствия будет излишней роскошью. Император был очень разгневан этим дерзким намеком на то, что он беспокоится совершенно понапрасну, и в своих замечаниях на записку дал полную волю как своему раздражению, так и своей мрачной фантазии. „Все это так,— писал он в ответ на заявление Ланского о полном спокойствии масс,— пока народ находится в ожидании, но кто может поручиться, что когда новое положение будет приводиться в исполнение, и народ увидит, что ожидание его, т. е. свобода, по его разумению, не сбылось, не настанет ли для него минута разочарования? Тогда уже будет поздно посылать отсюда особых лиц для усмирения. Надобно, чтобы они были уже на местах. Если бог поможет и все останется спокойно, тогда можно будет отозвать временных генерал-губернаторов..."

„Мы должны быть готовыми ко всему,—читаем дальше.— Эти все опасения (т. е. опасения, что разделение России на генерал-губернаторства принесет один вред) возбуждены людьми, которые желали бы, чтобы правительство ничего не делало, дабы им легче было достигнуть их цели, т. е. ниспровержения законного порядка". Потом „эти люди" названы прямо: оказывается, это были, ни более, ни менее, директора департаментов министерства внутренних дел (т. е. прежде всего все тот же „красный" Милютин)... „Красный призрак" в мундире действительного статского советника — дальше этого едва ли могло идти самое встревоженное воображение. Но, бросая яркий свет на настроение Александра Николаевича в первые годы реформы, этот драгоценный документ вскрывает перед нами еще одну черту, окончательно обрисовывающую позицию правительства: правительство прекрасно сознавало, что свобода, которую оно собирается дать, будет не настоящей, не той, которую ожидает народ, и что непосредственным результатом освобождения будет „разочарование" народной массы. Если мы не ошибаемся, нет документа, где в классовом характере реформы признавались бы откровеннее.

Правительство Александра II не бралось приготовить „разочарование" народу исключительно своими усилиями и за своей личной ответственностью. Дворянство должно

было всего больше выиграть от реформы, — дворянство и должно было приложить к ней руку и взять на себя часть ответственности. После Севастополя, как и после Тильзита, самодержавие нуждалось в людях, которые разделили бы с ним опасность стать жертвою „всеобщего негодования“, — некогда, по известным словам Бибикова, создавшего Пугачева. Но насколько холодно отнеслось дворянство к заискиваниям правительства после Тильзита — настолько теплого участия могло ожидать правительство теперь. Потому что само дворянство было напугано нисколько не менее. Министерство внутренних дел было засыпано донесениями предводителей дворянства, полными самых мрачных ожиданий. „Неизвестно, что готовит нам будущее, — писал, например, один из них, — тем более, что войска, кроме двух батальонов, во всей губернии нет. Все распущенные из полков солдаты рассыпаны по деревням и при первом случае станут во главе всякого беспорядка. На земскую полицию рассчитывать невозможно“. Повидимому, отпускных солдат больше всего боялось и правительство. Недаром министр внутренних дел в циркуляре губернаторам и предводителям дворянства (в апреле 1856 г.) рекомендовал особенному вниманию последних „отставных и бессрочно отпускных нижних чинов, которые будут приходить в селения, из коих первоначально поступили на службу“. И хотя министр счел долгом выразить надежду, что „сии заслуженные воины“ „подадут добрый пример“ крестьянам, тем не менее под его перо как-то случайно тут же попало „отклонение от законного порядка и от повиновения помещичьей власти“. Крайне характерно это косвенное свидетельство о настроении николаевской армии на другой день после Севастополя. Итак, страх был общим чувством как в центре, так и на местах. Воззвания правительства должны были теперь гораздо легче найти благосклонных слушателей, чем в 1809 году. Но, при общности страха, помещики, ближе стоявшие к деревне и могшие поэтому более конкретно представить себе опасность, все же менее теряли голову. Ни частные разговоры Александра II с предводителями, ни даже московское обращение, не заставили их, без всяких условий и даром, броситься на вызов самодержавия. Частные

разговоры товарища министра внутренних дел, Левшина, с дворянами в Москве (во время коронации в августе 1856 г.) тоже ни к чему не привели. Дворяне не хотели играть в темную и желали, чтобы правительство показало им свои карты — дало некоторые торжественные обещания, на которые потом можно было бы опереться, на почве которых, в случае нужды, можно было бы даже вести борьбу против возможных капризов сверху. Пришлось уступить. Так как наиболее предупредительными в частных разговорах с правительством показали себя дворяне западных губерний *), в особенности литовские, то первая уступка была сделана им. 20 ноября 1857 г. появился рескрипт Александра II на имя виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора Назимова.

По господствующей традиции, этот рескрипт составил эпоху в крестьянском деле. Зная такую его репутацию, вы готовитесь встретить в нем нечто совершенно новое — и встречаете хорошо знакомый вам закон 1842 года об обязанных крестьянах. В самом деле, вот основные положения рескрипта:

1. Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они в течение определенного времени приобретают в свою собственность посредством выкупа; сверх того, предоставляется в пользование крестьян надлежащее, по местным удобствам, для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей пред правительством и помещиками, количество земли, за которую они или платят оброк или отбывают работу помещику.

2. Крестьяне должны быть распределены на сельские общества, помещикам же предоставляется вотчинная полиция.

3. При устройстве будущих отношений помещиков и крестьян должна быть надлежащим образом обеспечена исправная уплата государственных и земских податей и денежных сборов.

Отличие от проекта Киселева, легшего в основу закона 1842 г., заключалось, главным образом, в том, что последний

*) О введении в западных губерниях инвентарей, которыми ближайшим образом было недовольно тамошнее дворянство, см. ч. I., стр. 223 и сл.

совершенно определенно сохранял прикрепление крестьян к земле, — а рескрипт 1857 года замалчивал вопрос о том, имеет ли право крестьянин, отказавшись и от усадьбы и от надела, попросту идти в широкий божий мир искать, где он выгоднее может продать свой труд. Но, не говоря этого всеми буквами, и рескрипт, очевидно, предполагает всем своим содержанием, что крестьяне останутся крепки тому имению, где их застало освобождение. Наиболее недогадливым совершенно определенно разъясняло это дополнявшее торжественный рескрипт секретное отношение министра к тому же генерал-губернатору Назимову, где уже всеми буквами было сказано, что крестьянам оставляется их усадебная оседлость „в видах предотвращения вредной подвижности и бродяжничества в сельском населении". Отношение рекомендовало даже „принять меры к возможному обеспечению оседлости батраков" — т. е. к уничтожению сельского пролетариата даже там, где он уже народился. Приняв все это в соображение, мы увидим, что разница со старым проектом Киселева заключается только в установлении за крестьянами права собственности на их усадьбы, которые предоставлялись „обязанным" крестьянам лишь в пользование. Но, это установление крестьянской собственности на клочок земли, не имевшей никакого хозяйственного значения, преследовало свою особую цель, вполне откровенно раскрытую в другом „отношении" того же министра, — по поводу рескрипта петербургскому генерал-губернатору Игнатьеву (от 5 декабря), аналогичного с назимовским. Дело в том, что усадьбы крестьяне обязаны были выкупать. „Размер выкупа, — пояснял министр, — определяется оценкой не одной усадебной земли и строений, но и промысловых выгод и местных удобств". Другими словами, заставляя крестьянина выкупать усадьбу, можно было заставить его выкупить и оброк, который он платил барину за право уходить на промысел, т. е. заставить крестьянина выкупить и свою личность. А до взноса выкупа за усадьбу крестьянин не получал и личной свободы. Таким образом, с самого начала была пущена на выкуп не только земля, но и право на людей, живших на этой земле. Эта идея вовсе не прокралась в реформу незаметно,

благодаря проискам „крепостников-помещиков“: честь ее изобретения принадлежит правительству — тому самому правительству, которое потом с таким истинно-пуританским лицемерием преследовало всякое упоминание о выкупе личности. В самом деле, „путь был указан“, лазейка была оставлена с самого начала. К чему же компрометировать „святое дело“, грубо выставляя на показ голые классовые инстинкты?

Итак, правительство Александра II начало с того, на чем остановился Николай I: традиция, связывающая два царствования, еще раз выступает перед нами со всей отчетливостью. Дворянству вторично предлагали то, от чего оно отказалось в 40-х годах. И новость заключалась в том, что теперь оно и не думало от этого отказываться. Крепостное право собирались ликвидировать вполне согласно с выгодами помещиков и — что еще важнее, — при их активном участии. Это разумелось само собой при основании дворянских комитетов: чрезвычайно характерно тут прежде всего то, что состав этих комитетов был чисто классовый. В противоположность редакционным комиссиям, где были соединены помещики и чиновники, притом первые по выбору и назначению правительства, в комитетах были только помещики. Комитеты состояли из выборных дворянских депутатов, по два на уезд, и назначенных администрацией, по два на губернию: но последние, помимо того, что они всегда составляли ничтожное меньшинство, брались непременно из числа местных же землевладельцев. Таким образом, комитеты выражали помещичью классовую точку зрения с такой чистотой, как только это было возможно. Но эта точка зрения не должна была остаться господствующей только на низшей ступени, в подготовительной стадии. По первоначальному проекту, она должна была быть широко представлена и при окончательном решении дела. Официально это было выражено в довольно сдержанной форме, оказавшей потом большие услуги правительству, когда оно получило возможность отпереться от своих первоначальных обещаний. Высочайшее повеление гласило: „1) Предоставить каждому губернскому комитету об улучшении быта помещичьих крестьян, по составлении в комитете проекта, избрать

по своему усмотрению и прислать в С.-Петербург двух членов для представления высшему правительству всех тех сведений и объяснений, кои оно признает нужным иметь при окончательном обсуждении и рассмотрении каждого проекта... 10) Предоставить главному комитету также право, если он признает нужным, приглашать и в свои заседания членов, командированных губернскими комитетами, а также требовать от них нужные сведения и объяснения".

Буквально отсюда не вытекало еще больше с о в е щ а т е л ь н о г о голоса для представителей дворянства, да и то не наверное. Но этот сдержанный язык казенного документа получил высоко компетентное разъяснение в речах самого императора, к которому дворяне были вправе относиться с большим доверием, чем к какой бы то ни было бумаге. В конце лета 1858 г., в разгар деятельности губернских комитетов, Александр Николаевич совершил большую поездку по северной и средней России и во всех губернских городах держал к дворянам речи о крестьянском деле. Смысл этого обращения был совершенно ясен: самодержавная власть продолжала думать, что она нуждается в поддержке дворянства. Это было сказано всеми словами в обращении к тверским дворянам: „Я уверен, что могу быть покоен, — сказал Александр II, — вы меня поддержите и в настоящем деле". И тут же, в непосредственной связи с этим, было дано такое разъяснение цитированному выше высочайшему повелению от 15 июля: „Я уже приказал сделать распоряжение, чтобы из ваших же членов было избрано двое депутатов для присутствия и о б щ е г о о б с у ж д е н и я в Петербурге, при рассмотрении положения всех губерний в главном комитете". Что бы ни думал при этих словах сам оратор — можно согласиться, что он не соединял с ними чересчур отчетливых представлений — но слушатели могли их понять только одним образом: что крестьянское делс будет решено при участии выборных от дворянства.

Как в 1842 году дело отдано на волю каждого дворянина в отдельности, в 1857 г. оно, казалось, с первого до последнего шага должно было зависеть от воли всего дворянства в целом. Тогда на призыв откликнулись три дворянина — теперь

навстречу правительству пошло дворянство всех губерний *). Уже сама картина открытия комитетов, с молебнами и обедами, с тостами в честь Александра II и речами во славу русского дворянства, с балами, на которых гремела музыка крепостных оркестров,—показывала, что приступ к крестьянской реформе не был тем тяжелым ударом для „крепостников-помещиков", каким его иногда представляли себе впоследствии. Находились, конечно, отдельные ворчуны-староверы, которым претили самые разговоры об освобождении крестьян, находились Коробочки, владельцы десятков душ, которым реформа в самом деле была невыгодна, но ни те, ни другие не пользовались никаким влиянием в губернском обществе. Из всех 1.377 членов губернских комитетов ни один не выступил на защиту старого порядка в его неприкосновенном виде.

И было бы очень неосторожно объяснять это холопством русских дворян того времени, ибо те же самые дворяне за десять лет перед тем не боялись же давать отповедь самому Николаю Павловичу, выглядевшему, конечно, более страшно, чем его куда более обходительный и доступный преемник. Напротив, прислушиваясь к речам, раздававшимся на этих торжествах, мы улавливаем скорее нотку ликования и самодовольства,— несколько преждевременного, как показали события. Воспетый впоследствии Щедриным „Новый Нарцисс" расцвел во всей красе впервые именно в губернских комитетах. Еще ничего не сделав, дворяне уже умилились по поводу своей доброты и своего великодушия. Вот,

*) Рескрипт 20 ноября 1857 года был разослан, как известно, всем губернаторам, что рассматривалось, как приглашение дворян всех губерний ходатайствовать об организации комитетов, подобных учрежденным в северо-западных губерниях. Но, не дождавшись результатов этой рассылки, правительство поспешило подогреть усердие дворянских обществ вторым высочайшим рескриптом, на этот раз относившимся к Петербургской губернии (петербургские дворяне за несколько лет перед этим хлопотали о разрешении заняться крестьянским вопросом), Первой откликнулась на призыв Нижегородская губерния (постановление дворянского собрания 17 декабря и ответный рескрипт 24 декабря—скорость беспримерная в русских официальных сношениях до тех пор). Затем 7 января 1858 года последовало подобное же постановление московского дворянства—вовсе не особенно опоздавшего, как, обыкновенно, думают. Явная немилость к нему была только моти-

например, как говорил херсонский губернский предводитель Касинов на обеде, которым, разумеется, было ознаменовано открытие губернского комитета: „Четыре дня тому назад, движимые благою и всеобъемлющею мыслью августейшего монарха, мы собрались здесь, в этой же зале, для предварительного, но гласного разрешения великой задачи, в которой целая Россия принимает участие семейное. Труден казался вопрос. Во имя истины нам предстояло отрешиться от наших личных интересов, от наших страстных увлечений. И мы его разрешили: дружно, честно, по-русски". „Продолжительное „ура" ответило на эти слова,— добавляет передающий эту речь современник,— и сугубый тост провозглашен в честь предводителя".

Так говорили добродушные провинциалы: но от них не отставала и дворянская интеллигенция. Профессор Кавелин— тогда еще не подвергавшийся опале—говорил на знаменитом московском обеде (28 декабря 1857 г.): „Просвещеннейшему сословию, стоящему выше других, интересы которого существенно зависят от того или другого решения задачи, предоставлена в нем самая деятельная роль. В этом, милостивые государи, скрывается глубокое нравственное начало, составляющее верный залог мирного успеха(!) Кто просвещеннее других, тот, естественно, и разумнее; кто высоко стоит на общественной лестнице, тот и способнее обсудить дело со стороны не только частной выгоды, но и всенародной пользы, у кого право и власть, тот отвечает за свои действия перед богом, отечеством

вирована его, якобы, медленностью, а на самом деле объясняется тем, что московские дворяне осмелились „свое суждение иметь", намекнув, что рескрипты для них необязательны. Прочие губернии на самом деле отстали значительно: в Оренбургской, Самарской, Симбирской, Саратовской, Киевской, Подольской, Волынской, Орловской и Тверской губерниях комитеты появились только в марте; в Астраханской, Новгородской, Казанской, Рязанской, Костромской, Екатеринославской, Тамбовской, Полтавской, Харьковской, Пензенской, Воронежской и Курской — только в апреле, в остальные еще позже. Впрочем, моменты официального учреждения комитета и фактического начала его действий не всегда совпадали: так, комитеты северо-западных губерний, к которым был обращен рескрипт двадцатого ноября, открылись в феврале-марте, московский начал свою работу в апреле, киевский и симбирский — только в июне.

и историей, а высокое призвание поднимает нравственно каждого человека..." Оказывалось, таким образом, что дворяне именно потому, что они были владельцами крепостного труда, чуть не способнее были правильно оценить интересы крестьян, чем сами крестьяне... И это говорил не какой-нибудь захолустный помещик, а один из самых талантливых публицистов своего времени, — говорил, несомненно, искренно в минуту большого душевного подъема. Форма, в которую отлился этот подъем, тоже необычайно характерна: выпив ряд тостов за Александра II, цвет московской интеллигенции, собравшийся в зале купеческого собрания, хором пропел „Боже царя храни" перед царским портретом. И нет надобности прибавлять, это было тоже совершенно искренно: люди были так умилены на себя и так довольны собой, жизнь казалась им такой полной и гармоничной, что они не могли не чувствовать горячей благодарности к виновнику своего счастия. В эти дни то лойяльное чувство, которое, как мы видели *), вообще проникало эмансипационное движение сверху донизу, отличалось особенной напряженностью, и всякое другое правительство, вероятно, сумело бы превосходно использовать подобный момент для того, чтобы прочно закрепить на своей стороне общественное мнение. Нужно было быть министрами и чиновниками, воспитанными в николаевской школе, чтобы общество, даже так настроенное, оттолкнуть от себя и сделать своим врагом. Но момент столкновения был еще не близок — двадцать восьмого декабря его никто не предчувствовал.

В знаменитом обеде была еще и другая любопытная черта, на которую менее обратили внимания и современники, и историки, но которая не меньше заслуживает внимания. Этой чертой было братание дворянства с передовой буржуазией. О последней напомнил прежде всего профессор политической экономии Бабст. „Еще в начале нынешнего столетия, — сказал он, — говорил Шторху один из фабрикантов, родоначальников нашей мануфактурной промышленности, что последняя не может широко развиваться при обязательном крепостном труде". Слова Бабста вызвали единодушное одобрение всего собрания. Но еще вырази-

*) См. выше гл. I: „Новое общество".

тельнее была речь откупщика Кокорева, которой ему не удалось произнести на самом обеде и о которой напечатавший ее „Русский Вестник“ выразился, что это — „не речь, а поступок“. Основная идея этого „поступка“ — что освобождение крестьян сулит в будущем огромные выгоды именно купечеству, буржуазии. „Когда новый порядок сообщит довольство крестьянам, тогда торговля вся разовьется и примет другие размеры, значит и мы, купцы, будем иметь новую огромную выгоду“. Отсюда Кокорев делал вывод, что купечество должно придти на помощь своими капиталами неизбежной при ликвидации крепостного права выкупной операции. Это были только одни фразы: как мы знаем, крестьянам пришлось самим выкупать себя. Но ведь и все остальное, говорившееся на этом обеде, были только одни фразы — и сомневаться в искренности Кокорева мы так же имеем право, как и сомневаться в искренности Кавелина. А то сочувствие, с каким была встречена речь Кокорева дворянской интеллигенцией, показало, что дворянство и буржуазия поняли друг друга, поняли, насколько эмансипация опеотвечает их обоюдным интересам; и если в будущем стьянской реформе суждено было встретить подводные камни, то во всяком случае они лежали не в этой стороне. Соперничество разыгралось не между дворянством и буржуазией, как мы увидим сейчас, а между отдельными слоями самого дворянства.

Мы уже видели, что защитников крепостного права в его чистом виде среди дворянства, взявшего в руки крестьянское дело, в 1858 году не нашлось. Если мы часто встречаем упоминание о „крепостниках“ в губернских комитетах, если мы слышим, что „либералы“ всюду, кроме тверского комитета, составляли меньшинство, то это значит лишь, что комитеты более или менее последовательно проводили классовую помещичью точку зрения на реформу, причем как мы увидим, „либералы“ отличались от „крепостников“ более в собственном воображении и изображении, чем объективно. Мы знаем, что экономической задачей эмансипации был выход из того тупика, куда завело помещичье хозяйство развитие новой капиталистической барщины. Барщинное хозяйство становилось явно невыгодным, — его

нужно было заменить более прогрессивным типом. Но, во-первых, барщинное хозяйство и крепостное право не вполне покрывали друг друга. По тогдашнему счету, приблизительно половина всех крепостных крестьян была на оброке). Но оброчное хозяйство экономически ничем не отличалось от вольного крестьянского хозяйства, за исключением таких случаев, далеко не составлявших общего правила, где крестьяне одновременно платили оброк и отбывали барщину. Если отказ от барщины по экономической невыгодности ее не составлял пожертвования для помещика, то отмена оброка, без дальнейших последствий, была уже на самом деле экспроприацией значительной доли помещичьей собственности. Едва ли нужно говорить, что на какое-либо „принудительное отчуждение“ того, что имело действительную, а не номинальную только ценность, тогдашние помещики так же мало были согласны, как и позднейшие. Вопрос о выкупе оброка, в той или иной форме, явился поэтому первым камнем преткновения для губернских комитетов и первым предметом споров. Но этим затруднения не ограничивались. И барщина была невыгодна на всем пространстве России и для всех имений лишь теоретически, как бывает невыгодно технически отсталое предприятие. Тем не менее едва ли скоро найдется фабрикант, склонный отдать фабрику с устаревшими машинами просто даром, без всякого вознаграждения. Если вы предложите ему бросить технически устаревшее, невыгоднее, предприятие,—он, по всей вероятности, ответит вам контр-предложением—дать ему ссуду, которая помогла бы ему технически обновить его фабрику и сделать ее выгодной. „Капитал в обмен на барщину“ — такой лозунг помещиков нисколько не стоял в противоречии с тем фактом, что барщина была устаревшим типом хозяйства. И, наконец, ликвидация барщинного хозяйства, даже с воспособлением от государства на переход к новым формам эксплоатации, ставила ребром вопрос о вольнонаемном труде. Но мы уже со слов Кавелина знаем, в каком положении был этот вопрос, например, в черноземном, великолепно подготовленном для сельскохозяйственного капитализма, но в то же время малолюдном нижнем Поволжьи. Если здесь рабочий вопрос был страшен

в действительности, то во многих других местах он был страшен помещичьей массе просто по непривычке. „Почти все наши помещики убеждены в том, что заведение хлебопашества на коммерческом основании (кроме некоторых местностей, не требующих удобрения и необыкновенно щедро вознаграждающих самый ничтожный труд) при вольном найме рабочих было-бы убыточно“, — говорит Самарин. Отсюда следовало, что на пути к новым формам хозяйства нужно было „соломки подослать“, чтобы помещик не очень почувствовал переход от старого порядка, с которым он так свыкся; другими словами,— чтобы свободная деревня отличалась от крепостной как можно меньше на первых порах. И в то же время, ради спасения от жакерии, нужно было, чтобы крестьяне приняли все им дарованное за настоящую полную свободу. Задача была более головоломная, чем, обыкновенно, себе представляют, и чреватая уже целым рядом разногласий среди дворянства.

Все эти вопросы нашли себе в губернских комитетах очень компетентных и тонких судей: легенда, пущенная в ход тогдашним чиновничеством о неспособности и невежестве большинства заседавших в комитетах помещиков должна быть окончательно оставлена. Приводя известный отзыв Ланского, „едва ли $^1/_{10}$ доля (членов комитетов) занималась предложенным предметом, остальные бессознательно покорялись влиянию нескольких людей, успевших завладеть делами новейший исследователь деятельности губернских комитетов замечает: „Едва ли этот отзыв был справедлив. Десятую часть всех членов комитетов составляли уже одни члены, подписавшие проекты меньшинства разных комитетов и тверского большинства, к которым, несомненно, фраза эта не относилась- Из числа же членов большинства весьма многие участвовали в деле не только вполне сознательно, но и чрезвычайно активно. Как свидетельствуют современники и как это видно из журналов губернских комитетов, члены большинства многих комитетов отнюдь не могут быть причислены сплошь и без разбору к тем заскорузлым и тупым консерваторам, которым противно всякое преобразование. Некоторые из них были по своим взглядам скорее либералами, в политическом смысле этого слова, и если они

не сочувствовали предложенной им реформе, то в значительной мере потому, что реформа эта задумана была без их участия, и им предлагали обсудить ее по готовой программе, несогласованной с их местными нуждами и интересами. Многие из них не сочувствовали и вообще либеральным видам правительства, но и эти консерваторы действовали вовсе не бессознательно, а наоборот, с полным сознанием своих сословных интересов и выгод. Можно их обвинять в сословном и классовом эгоизме, можно говорить об отсутствии у них гуманных и филантропических чувств, о недостатке великодушия, но совершенно неверно приписывать им бессознательное отношение к делу. Разумеется, и здесь, как и во всяком человеческом деле, были вожаки и рядовые, но это также мало свидетельствует о бессознательном подчинении последних первым, как и в любом парламенте или другом общественном собрании, где есть партии, а следовательно, и партийная дисциплина" *).

Первый вопрос, на котором обозначились различные помещичьи „партии", был вопрос о переходных мерах от старого к новому хозяйству. Киселевский проект, воспроизведенный рескриптом 1857 года, звучал в этом случае весьма консервативно. Согласно ему, надел предоставлялся крестьянам лишь в пользование — право собственности даже и на надельную крестьянскую землю оставалось за помещиком, за эту землю крестьяне должны были или платить оброк или отбывать работу на помещика. Чтобы оценить, как следует, классовый смысл этого требования государственной власти, нужно не забывать экономическое значение крестьянского надела при крепостном праве. Участок земли, отводившийся крестьянину барином, был натуральной формой заработной платы: из дохода с этого участка крестьянин, во-первых, пропитывался со своей семьей, во-вторых, оплачивал подати. Мы увидим, как правительственная политика в тот момент, когда она хотела стать антикрепостнической, построила свой план атаки на этой второй функции крестьянского надела. Пока остановимся на первой: если крестьянин продолжал оплачивать работой уступленный

*) А. Корнилов.—„Губернские комитеты по крестьянскому делу." („Очерки по истории общественного движения"). Спб., 1905, стр. 205.

ему помещиком надел, то крепостное хозяйство фактически не прекращало своего существования. Это и входило совершенно сознательно в планы Киселева, который, подобно всем эмансипаторам николаевского времени, начиная со Сперанского, имел в виду юридическое раскрепощение крестьян — изъятие людей из числа возможных объектов собственности. Разложение хозяйственного строя барской вотчины Сперанский и его последователи, в том числе и Киселев, составляли на волю естественной, экономической эволюции: в этом случае Сперанский был верным учеником XVIII века, с его теорией невмешательства в экономические отношения. В 50-х годах XIX века речь шла именно о принудительной ликвидации крепостного хозяйства: но архаизмом рескриптов могли воспользоваться те помещики, которые не чувствовали еще себя готовыми к переходу на новые рельсы. Приспособляясь к интересам наиболее отсталых из своих собратий, целый ряд комитетов *) желал, чтобы обязательства крестьян к помещикам по наделам продолжались столько, сколько это нужно помещикам для того, чтобы естественным путем, медленно и не спеша, перейти к новым формам хозяйства: они стояли за бессрочное пользование с сохранением права помещиков требовать барщину. Экономическое значение этого требования было, впрочем, неодинаково для различных комитетов: и если по отношению к петербургскому и московскому речь может идти только об отсталости помещичьих хозяйств, то для саратовского или самарского приходится говорить об отсталости края вообще,— мы видели, в каком положении там был вопрос о рабочих руках. Вот почему здесь даже такие передовые люди, как Самарин, стояли за обязательные отношения. „Внезапная и обязательная отмена барщины повлекла бы за собой большие неудобства, — писал последний в одном из своих проектов,—ибо на первых порах нечем было заменить ее. Изложив затем положение вопроса в заволжских губерниях,— уже знакомое нам со слов Кавелина — Самарин заключает: „По этим причинам следовало бы, пока не

*) Петербургский, московский, псковский, олонецкий, ярославский, владимирский, самарский, саратовский, могилевский, черниговский и тульский, и общие комиссии киевская и виленская.

установится само собою равновесий между предложением и запросом на вольный труд — этот почти небывалый у нас товар — оставить помещику право на несколько обязательных рабочих дней (8 или 10 с тягла), как вспомогательную повинность лет на 10 или на 12". Как видим, можно было бы вовсе не быть крепостником и стоять тем не менее даже за сохранение барщины. Вполне понятно, что и размеры рабочей повинности крестьян старались сохранить те, какие исторически выработались в крепостном хозяйстве. Чтобы дать некоторое основание словам об „улучшении быта", почти все комитеты заявляли, что они руководятся нормой пониженной сравнительно с указанной барщиной (определенной императором Павлом): требуют два дня в неделю вместо трех. Но при этом все они оговаривали, что две трети или три четверти этих дней могут быть потребованы летом в рабочую пору. Это давало при 94 рабочих днях в году от 63 до 69 дней барщины в л е т о: больше этого количества в Московской губернии, например, помещики и раньше никогда у крестьян не брали.

Интересы самых задних рядов помещичьей массы были бы совершенно удовлетворены подобным решением вопроса: ибо в конце концов самые заскорузлые крепостники интересовались не правом менять людей на собак, а доходами, которые они получали от своих имений. Но как раз в этом последнем пункте их интересы приходили в очевидное столкновение с теми, кто надеялся извлекать гораздо больше дохода по-новому. Этой категории передовых помещиков совсем неинтересна была барщина, осужденная и экономической наукой, и их собственными опытами. Они желали начать новое хозяйство на чисто новых началах. Густота населения, удобные пути сообщения, близость рынков сбыта давали, по их мнению, полную объективную возможность этого, но им нужен был к а п и т а л. Единственное средство получить его они видели в выкупе за деньги тех самых повинностей, которые были обещаны помещикам рескриптом — в форме выкупа надела. Так как мы уже знаем, что надел был натуральной оплатой барщины, то выкуп надела фактически совпадал с выкупом этой последней. На эту точку зрения стали комитеты тверской,

калужский и харьковский и меньшинство комитетов владимирского, рязанского, симбирского. Близки к ней были новгородский, ярославский, пензенский, саратовский, меньшинство московского. Преобладание губерний расположенных по большим водным путям Оке и Волге и по единственной тогда железной дороге, Николаевской *), бросается в глаза. Нужно иметь в виду, что, охраняя интересы помещичьей массы, правительство всячески стесняло наиболее прогрессивные проекты — выкупа наделов в собственность крестьян — порою даже запрещало суждения об этом,— и потому немногие высказавшиеся в этом смысле комитеты должны были преодолеть значительное сопротивление. Иначе, вероятно, выкупных проектов было бы гораздо больше. Их типом может служить наилучше обработанный и обоснованный тверской проект. Согласно ему, крестьяне выкупали свои наделы сразу, целым обществом, причем помещик единовременно получал всю сумму выкупа. Для субсидирования крестьян предполагалось учреждение особого акционерного общества, которому правительство гарантировало уплату крестьянами ссуды в течение 42 лет. Помещик получал часть выкупной суммы наличными и часть облигациями, приносившими $4^1/_2\%$ в год — „выкупными свидетельствами“, как они назывались впоследствии (проект тверичей, как, известно, был принят в конце концов и правительством). Проект этот был мотивирован Унковским—самым энергичным деятелем тверского комитета — с полной откровенностью и последовательностью. „Выдача капитала, — писал он,— необходима для поддержания помещичьих хозяйств и приспособления их к обработке наемными руками“. Он не скрывал при этом, что выкуп земли есть лишь только маска: „Справедливость требует“,— писал,— он,— чтобы помещики были вознаграждены, как за землю, отходящую из их владения, так и за самих освобожденных крестьян“. „Лица, имеющие по закону право владеть людьми, надеясь на силу законов, до сего времени не опасались употреблять капиталы на покупку людей, как имущества, которого обладание дозволено и ограждено законами. Признать это имущество незаконным и изъять без всякого

*) Теперь Октябрьской.

вознаграждения несправедливо, потому что лица, владеющие крепостными людьми в данную минуту, не могут отвечать за прочность государственных вековых учреждений, и потому что законы не могут иметь обратной силы". В выкупе барщины Унковский видел „единственное верное средство освободить крестьян не словом, а делом, не постепенно, а разом, единовременно и повсеместно, не нарушив ничьих интересов, не порождая ни с какой стороны неудовольствий и не рискуя будущим России..."

Проект замаскированного сохранения крепостного права резко сталкивался, таким образом, с проектом замаскированного его выкупа. „Вы нас разорите, если сразу, не на словах, а на деле, освободите крестьян",—стонали отсталые помещики-феодалы. „Вашим призрачным освобождением вы только раздражаете массу и вызовете общий взрыв, который погубит и нас и вас",— отвечали им помещики-буржуа. „Объявить народ свободным, оставив его почти в той же неволе и не улучшая его быта, по нашему мнению, хуже, нежели оставить его в крепостной зависимости,—говорил Унковский.— Это объявление свободы без дарования ее в действительности уничтожит в народе доверие к правительству, отнимет у него последнюю надежду на улучшение его быта и вследствие этого отчаяния может вызвать все дикие явления пугачевщины". Это значило ударить в самое чувствительное место — вся реформа двигалась страхом перед пугачевщиной. Выйти из этого противоречия отдельные дворянские комитеты, очевидно, не могли — решить вопрос можно было только в центре: уже это давало центральной власти перевес над дворянским обществом. Но тот раскол, который мы сейчас охарактеризовали, был не единственным: рядом с проектом сохранения барщины и выкупа ее в целом ряде комитетов выдвигалось третье решение вопроса: ликвидации барщины даром, но с передачей всей земли помещику.

Если Самарин выражал интересы до-капиталистического землевладения, Унковский — интересы развитого сельскохозяйственного капитализма, то проекты безземельного освобождения отражают собою интересы капитализма эпохи первоначального накопления. Эти проекты шли из губерний,

где не было крупных городских центров, не было развитой промышленности и не было поэтому оснований опасаться ухода работников из деревни, — как это, несомненно, имело место в районе Николаевской железной дороги. Здесь в то же время почва была еще так мало истощена, что хозяйство могло вестись самыми примитивными средствами и почти не требовало предварительных затрат,—неизбежных на истощенном уже суглинке Тверской губернии. Земля здесь обрабатывалась, по большей части, крестьянским инвентарем и почти не удобрялась. Работника с инвентарем найти было не трудно, но крепостной крестьянин был наименее выгодным типом такого работника. За него приходилось платить подати, ему приходилось помогать в годы неурожая, снабжать его лесом на постройку избы, а главное— с ним приходилось делиться „самым ценным товаром", по выражению кн. Черкасского, — черноземом. Невыгоды эти были так велики, что в 50-х годах здесь имение с крестьянами ценилось, обычно, дешевле такой же площади земли без крепостных. Очень выпуклый пример этого рода рассказал Кокорев в своей речи на обеде 28 декабря: „Недавно я купил в Орловской губернии 2.200 десятин земли (без крестьян) у гр. Р. за 100.000 рублей сер. и отдал эту землю в аренду за 9.000 р. в год, тогда как имение с крестьянами никогда не может дать таких процентов. В той же губернии мне предлагает кн. О. 3.500 десятин земли по той же расценке, как я купил у гр. Р., но я не мог на это согласиться потому только, что на этой земле живут 500 крестьян; значит, и нет возможности приобресть эту землю купцу, а владение под чужим именем никому не по нутру. Надобно вам сказать, что за 500 лиц крестьян никакой не полагалось цены. Из этого очевидно, что в хлебородных губерниях желающих арендовать землю будет более, чем земля того требует, и оттого арендные цены будут возрастать к выгоде землевладельцев..."

Слова Кокорева, как мы теперь знаем, были для этой части России почти пророческими. Помещик, забрав себе всю землю, отнюдь не рисковал, что она останется у него на руках. Отдав крестьянам в аренду гораздо меньшую

часть, чем какая теперь лежала под крестьянскими наделами, он мог приобрести столько рабочей силы, сколько ему было нужно. Оттого комитеты черноземных губерний почти сплошь стояли за безземельное, даровое освобождение крестьян. В этом смысле высказались комитеты: воронежский, тамбовский, курский, орловский, полтавский, екатеринославский, херсонский, таврический и части рязанского и симбирского*). Настроение помещиков этих губерний хорошо изобразил один из корреспондентов Погодина, писавший ему о тамбовских дворянах: „Почти никто не боится потерять одних крестьян, без земли. Можно, говорят, дать им по рублю серебром, напоить водкой и отслужить еще, на радостном прощании, молебен... Доказывают (и это, кажется, так), что обработка полей наемными людьми несравненно выгоднее, ибо их кормить только во время работы, а там прощай, ступай, куда знаешь. Своих же корми целый год, всю сволочь и старье, какое только есть...“ Само собою разумеется, что при этом тамбовские помещики вовсе не имели в виду переход к вольнонаемному труду в том смысле, как о нем говорил Унковский. Манчестерские фразы в данном случае были только приличным облачением истинно-русской сущности. Об этом между строк очень хорошо проговорилось большинство симбирского комитета. Конечная цель реформы, говорило оно, должна состоять в совершенной замене обязательного надела добровольным соглашением; до этого же времени „в России, одной из всех держав европейских, труд не будет свободен и крестьяне останутся под другим именем крепостными“. Отрезав этот пышный павлиний хвост, мы легко вскрываем сущность дела; симбирские дворяне стремились к тому, чтобы вынудить крестьянина арендовать

*) Комитеты смоленский и нижегородский попали в эту категорию по специальным условиям: о смоленском будет еще речь ниже, в нижегородском, благодаря неловкому вмешательству правительства, взяли верх владельцы барщинных имений южной, черноземной части губернии. Очень характерно стремление к экспроприации крестьян со стороны дворянства северных губерний — Костромской, Вологодской, Вятской и Пермской; г. Корнилов совершенно правильно объясняет это тем, что здесь „крестьянские наделы“, представляющие участки, разработанные из-под леса с приложением значительного труда, имели и весьма значительную ценность.

L. c. стр. 253.

у них тот надел, который при крепостном праве они сами вынуждены были давать ему даром. Тут был на очереди переход не к буржуазному хозяйству, а к самому беззастенчивому земельному ростовщичеству, позволявшему получать „рабочие силы“, „дешевле действительной их стоимости“,— как справедливо выразился Самарин по другому поводу.

По отношению к размерам крестьянского надела два первых способа ликвидации крепостного права сходились между собою. Для тех, кто стоял вообще за status quo, украшенное новой юридической терминологией, логически обязательно было и status quo крестьянского надела. Самарин не без жара отстаивал сохранение за крестьянами полностью их земельного надела (вспомним, что Самарская губерния была одною из самых многоземельных) и не без эффекта становился при этом даже на демократическую точку зрения. „Мы вообще никак не можем одобрить уменьшения существующего надела землею где бы то ни было,— писал он,— разве сами крестьяне изъявили бы на то свое согласие, чего почти нигде ожидать нельзя... Такова уже привязанность крестьян к земле... Лучше потерпеть еще несколько лет, только бы не уступать ни пяди земли — вот что мы не один раз слышали из уст крестьян и что постоянно отдается в толках, возбужденных рескриптами... На крестьян гораздо сильнее подействует отобрание самой незначительной доли мирской земли, чем огромная льгота в повинностях, и предполагаемая мера отзовется в их понятиях не как улучшение их быта, а как экспроприация, как нарушение их права на землю“. И в этом пункте с ним сходится противоположный экономический полюс — тверской комитет с Унковским во главе. „Весьма естественно,—писал последний,— что крепость земле в продолжение двухсот лет привела крестьян к полному сознанию своего права владения, и никакие внушения правительства и постановления губернских комитетов не в состоянии поколебать этого верования“. Здесь крестьянам нужно было дать максимум земли ради того, чтобы получить максимальный выкупной капитал для ведения нового хозяйства. Совершенно естественно, что те, кто надеялся выжимать доходы из земельной нужды крестьянина, не затрачивая никакого капитала, не хотели

оставлять крестьянину ни сажени земли. По истечении „временно-обязанного“ периода (который полтавский, например, комитет определял в 12 лет) вся крестьянская земля становилась собственностью помещика.

Во всех трех случаях барщинного хозяйства положение было, таким образом, очень просто и ясно. Сложнее и запутаннее было дело по отношению к оброчному хозяйству. Идеалом и здесь, конечно, было полное обезземеление крестьян с целью заставить их арендовать их бывшие наделы и заменить таким способом устаревшую категорию оброка — более современной арендной платой. Пример этого мы уже видели в Симбирской губернии. На черноземе, таким образом, интересы барщинных и оброчных помещиков сходились; вот почему черноземные комитеты и были так единодушны в своих экспроприаторских проектах. Но сложнее обстояло дело в нечерноземных и промышленных губерниях. Здесь простое обезземеление привело бы только к запустению деревни, все взрослое население которой разошлось бы на отхожие промыслы. Самым простым выходом здесь был бы выкуп личности крепостных, о чем откровенно говорил Унковский, — он и на суглинке примирил бы оброчников и барщинников, как на черноземе. Но мы уже знаем, что самая постановка вопроса о выкупе личности была формально запрещена правительством (журнал главного комитета 12 января 1859 г.). Волей-неволей, сбитое с прямого пути, дворянство должно было пойти окольным. Результатом запрещения правительства явились неимоверно высокие, фантастические оценки усадеб, которые, как мы знаем, крестьянин непременно должен был выкупать. Так, например, московский комитет положил за усадебную землю от 400 до 1.200 рублей за десятину, т. е. до полтинника за сажень: в то время земля в самом городе Москве, на окраинах, ценилась гораздо дешевле. Вологодский комитет за минимальную усадьбу в 500 кв. сажень назначил 200 рублей и за каждую сажень, сверх того, по 20 коп. Чтобы оценить как следует эти цифры, нужно знать, что в Киевской, Подольской и Волынской губерниях усадебная земля была оценена в 9 коп. сажень, в Саратовской — в 10 коп., в Оренбургской — в две копейки. Москвичи

оценили, таким образом, свой суглинок в пять раз дороже поволжского чернозема. Уже одно сопоставление этих оценок ясно показывает, что дело шло здесь не о вознаграждении за землю. Но один из нечерноземных комитетов. смоленский, сам рассказал нам, как помещики приходили к подобным цифрам. Смольняне подавали специальный адрес Александру II, прося разрешить им поставить вопрос о выкупе личности крепостных, мотивируя это тем, что в Смоленской губернии, „по свойству почвы, крепостной труд составляет главную ценность наших имений“. „Всемилостивейший государь! — патетически восклицали смоленские помещики,— излагая все это, смольняне не обманывают Ваше величество! Если нужны жертвы дворян для блага отечества, то жизнь и все достояние наше подвергаем к стопам вашим, но достояние наше ныне более принадлежит кредиторам нашим, чистого расчета с которыми требуют честное имя дворянина и забота об участи детей наших... Без полного за отходящую от нас собственность вознаграждения шесть тысяч дворян смоленских лишатся честного имени, приобретенного службою вашим предкам, подвергнутся нищете неизбежной“. Но когда на эту трогательную мольбу даже не ответили, смольняне назначили по 15 коп. за каждую сажень усадебной земли и сверх того от 75 до 206 руб. за постройки (смотря по местности). Справедливость требует, однако, отметить, что на оценке усадеб играли не только нечерноземные помещики, для которых не было другого выхода: воронежский комитет назначил, например, за усадебную землю по 25 коп. за сажень. Нужно сказать, впрочем, что воронежские помещики отличались непомерными аппетитами даже среди своих собратий.

Мы видим, таким образом, что вмешательство правительства ни мало не послужило в данном вопросе к пользе крестьян. Наивная и элементарная постановка крестьянского дела в рескриптах, на двадцать лет отставших от жизни, никак не могла охватить всей сложности действительных экономических отношений. Природу гнали в дверь, она возвращалась в окно... Та же неудача, какая постигла правительство на попытке запретить выкуп личности, ждала

его и на другом вопросе: борьбе с тенденцией обезземеления. Заметив экспроприаторские наклонности некоторых комитетов, правительство неустанно напоминало о необходимости „обеспечения крестьянам прочной оседлости и надежных средств к жизни и к исполнению их обязанностей“. „Средства к жизни“ были здесь больше для красоты слога, но о „прочной оседлости“, о том, чтобы „не положить у нас начала вредного пролетариата, оказавшего столь печальные последствия на западе Европы“, а равно и о том, чтобы все „государевы дани и оброки сходились сполна“ — об этом правительство заботилось, конечно, серьезно. Но что же из этого вышло? Южные комитеты, подчиняясь формальному требованию правительства, установили нормы наделов, — втайне утешая себя, что это лишь временно, что по истечении нескольких лет надельная земля „вернется“ к ее „собственникам“ (см. выше). Но эти нормы были таковы, что от исторически сложившегося крестьянского хозяйства оставалось одно воспоминание. До 50-х годов, по крайней мере, треть помещичьей земли находилась в распоряжении крестьян. Теперь такие многоземельные губернии, как Херсонская или Таврическая, имевшие в среднем 24,4 дес. и 56 десятин на душу, проектировали наделы: Херсонская — от 1,3 до 3 десятин, Таврическая—от 3 до 5 дес., Екатеринославская губерния, где земли в помещичьих губерниях приходилось по 18,9 дес. на душу, предлагала своим крестьянам удовольствоваться наделами от 2 до 3 десятин. Воронежские дворяне себе оставляли 2.000.000 десятин, а крестьянам давали 240.000. Тамбовские требовали отрезки от $1/2$ до $2/3$ существующего надела и т. д., и т. д. За невозможностью полного обезземеления можно было помириться и на этом. При ликвидации барщинного хозяйства эти нормы обеспечивали достаточное предложение батрацкого труда почти столь же, как и освобождение с одной усадьбой. При ликвидации оброчного налицо был готовый класс обязательных — в силу экономической необходимости — арендаторов. И в том и в другом случае, формально подчиняясь, черноземные дворяне вели все-таки свою линию.

Опасность этой линии заключалась, очевидно, не в правительстве, — оно было слишком неуклюжим противником, —

а в тех противоположных тенденциях, какие существовали среди самого дворянства. Оно, как мы видим, совсем не представляло однородной массы даже в экономической области. Между черноземным „плантатором“, тверским либеральным буржуа и самарским феодалом было не больше ладу в иных пунктах, чем между помещиком и крестьянином. Если бы правительство было, действительно, той внеклассовой силой, какою его часто представляют, оно, опираясь на эти взаимно перекрещивающиеся тенденции, могло бы достигнуть очень многого. Но оно поступило так, как исторически оно привыкло поступать. Испугавшись политической программы передовых комитетов — в сущности, чрезвычайно невинной — оно попыталось было, в свою очередь, „пугнуть“ дворянство, но не могло выдержать такой совсем несвойственной ему роли. И очень скоро, вернувшись к своему привычному положению — правящего комитета помещиков — оно помирилось на минимальных экономических уступках, сделанных наиболее отсталой частью дворянства. Реформа прошла не по тверскому типу, а по самарско-воронежскому.

Мы не будем сейчас рассматривать эту напугавшую правительство политическую программу комитетов, — она вскрылась позже, при столкновении их с редакционными комиссиями, и получила своеобразную окраску, отчасти благодаря этому столкновению. Когда первые комитеты заканчивали свою работу, этого столкновения еще никто из дворян не предчувствовал. Напротив, заключительные сцены носили такой же идиллически лойяльный характер, как и вступительные. „Костромской комитет кончил свои занятия 15 января 1859 года, — рассказывает современник. — В этот день принесен был в залу дворянского собрания чудотворный образ феодоровской богоматери для совершения перед оным молебствия. Местный епископ произнес увлекательное слово, а начальник губернии Романус — благодарственную дворянству речь, или лучше сказать, как он сам выразился, шесть слов: „Благодарение господу богу и хвала комитету“. Затем, начальник губернии и члены комитета составили группу, которая была снята „на память всем посредством фотографического снаряда“. Тверской

комитет закрылся 7 февраля. В этот же день члены комитета дали обед начальнику губернии гр. Баранову. Первый тост был провозглашен предводителем А. М. Унковским „за здравие и благоденствие пресветлого солнца, которое греет и светит России — государя императора Александра Николаевича". Потом следовали: второй тост за здравие государя, тост за гр. Баранова и, наконец, за членов комитета. Через день после обеда членами был поднесен председателю комитета Унковскому серебряный вызолоченный кубок работы Сазикова; на крышке кубка стоит крестьянин без шапки и с низким поклоном держит на подносе хлеб-соль, в знак благодарности за свободу и землю. Но с особенной торжественностью закончил свои занятия харьковский комитет — единственный из черноземных, где плантаторские вожделения не проявились в слишком обнаженном виде. Члены харьковского комитета, видимо, умели ценить себя и свое дело. Проект положения они подписали специально приготовленными бронзовыми перьями с буквами А. II и надписью на ручках: „24 марта 1859 г., Харьков". „Перья эти унесены каждым членом для хранения оных в их приходских церквах". Председатель комитета, он же губернский предводитель, Бахметев, отправил министру внутренних дел такую телеграмму: „Комитет харьковский кончил дело по-христиански: он закрыт сего дня с мольбою о своем монархе". Нужно ли говорить, что все это сопровождалось обедами, громом музыки, тостами и т. д.

III

Редакционные комиссии.

В течение 1859 года работы губернских комитетов мало-по-малу заканчивались: 22 августа довел до конца свое дело самый запоздавший из них, — олонецкий. Взгляды дворянства на крестьянскую реформу лежали теперь перед глазами центральной власти в подробной и отчетливой формулировке. Оставался момент, которого с нетерпением ждали помещики, в котором они не без основания видели кульминационный пункт борьбы за крепостной труд: момент встречи представителей поместного дворянства, депутатов от губернских комитетов, с представителями „бюрократии",

т. е. дворянства придворного и чиновного, заседавшими в главном комитете по крестьянскому делу. В наступлении такого момента, казалось, не могло быть сомнений: вызов депутатов в Петербург „для окончательного рассмотрения" всего дела обещал сам император. В результатах встречи тоже, повидимому, сомневаться не приходилось: работы комитетов только что показали, насколько поместное дворянство в конкретных деталях вопроса сильнее официально руководившего всем чиновничества. А в конкретных деталях была вся суть дела: „принципиально" насчет освобождения, как мы видели, никто серьезно не спорил.

И вот по мере того, как дело должно было приближаться к этому решительному моменту,— в дворянских кругах все шире и шире и все настойчивее распространялась странная весть: что так нетерпеливо ожидавшейся встречи не будет вовсе, что правительство передумало и собирается решить крестьянский вопрос самостоятельно, помимо дворянства, что уже и детальный, конкретный проект реформы выработан — выработан учреждением, где нет и помину о дворянских уполномоченных, и выработан окончательно: так что в основе он критике не подлежит, а изменены могут быть разве кой-какие второстепенные подробности — „применительно к местным условиям". Основа же его такова, что дворянству грозит „единовременно разорение и уничтожение",—как гласил один документ, летом 1859 года ходивший по рукам помещиков. В августе этого года уже не могло быть сомнений, что депутаты от губернских комитетов „предназначаются", говоря словами того же документа, „к разыгрыванию странной роли — быть призванными для ответов и разъяснений на вопросы, какие им будет делать главный комитет или комиссия: положение унизительное до крайности, даже смешное..."

Нет надобности говорить, что дворяне объясняли себе ошеломившую их перемену правительственного курса „интригами" „бюрократии": цитированный нами сейчас документ и был проектом адреса, долженствовавшего раскрыть глаза монарху и довести до него заглушаемый чиновниками голос его дворянства. Нам нет также надобности принимать буквально это объяснение: для самих дворян,— по крайней

мере, более развитых из них,—это была не более, как лойяльная оболочка верноподданнического протеста. Государь не мог быть не прав — не правы могли быть только его слуги; если государь делал что нехорошее, то это потому, что слуги ввели его в заблуждение. Мы можем игнорировать этот литературный этикет всеподданнейшего адреса — мы скоро увидим, что не одни „слуги“ принимали участие в создании условий, поставивших дворянство в положение „унизительное и даже смешное“. Но нельзя игнорировать самого факта—резкой перемены во взглядах правительства на „ход и исход крестьянского вопроса“,—как любил выражаться Я. И. Ростовцев. Правительство кончало крестьянскую реформу совсем не так, как оно ее начало, и у этого факта должно быть свое объяснение, помимо всяких „придворных интриг“, — объяснение, вытекающее из общих условий момента.

Мы видели, что главной пружиной, толкавшей вперед крестьянское дело в конце 50-х годов, был страх перед пугачевщиной: без этого мы имели бы медленную эволюцию экономических отношений, а не революцию сверху 19 февраля. Мы видели также, что в первые годы реформы эта пружина сильнее действовала на правительство, чем на общество. В то время, как Александр II еще серьезно верил в неизбежность мужицкого бунта, ближе стоявшие к массам помещики видели, что опасность не так близка — и, более трезво смотря на дело, пользовались этим своим преимуществом, чтобы торговаться с охваченной паническим ужасом властью. Таково было положение дела в 1856—57 г.г. Главная перемена и состояла прежде всего в том, что это чувство относительной безопасности, сознание того, что революционность крестьянской массы была значительно переоценена под влиянием волнений середины 50-х годов — все это мало-по-малу сообщалось теперь и высшим сферам. До конца 1857 года продолжали приходить из губерний тревожные вести: едва ли здесь не имелось в виду, по крайней мере отчасти, еще больше запугать правительство, чтобы еще больше от него выторговать. По крайней мере, вскоре после опубликования рескриптов 20 ноября и 5 декабря, показавших, что правительство, наконец, приняло

определенное решение, лед тронулся,—поток алармистских известий быстро начинает иссякать. Уже в первых числах января следующего года один из генерал-губернаторов доносил: „Я твердо убежден, что крестьяне, ожидая и предвидя изменение своего положения к лучшему, никогда не посягнут на какие-либо преступные действия“. В то же время от другого получен был отзыв, что „неблагонамеренные толки начинают затихать, встревоженные умы видимо успакаиваются“. Донесения же, полученные во второй половине января, единогласно свидетельствовали, что полное спокойствие между крестьянами ничем не нарушается. Начальник одной из губерний писал, что „помещичьи крестьяне тише и спокойнее, чем когда-либо“. Цифры были красноречивее всяких слов: в 1858 году не было ни одного случая убийства крестьянами помещика, тогда как в предшествующие годы таких бывало, в среднем, по тринадцати ежегодно *).

Крестьянство оказывалось гораздо благонамереннее, чем от него ожидали. А в то же самое время из всколыхнутого рескриптами дворянского моря, покрывшегося было в николаевские дни густой болотной плесенью, стали доноситься звуки один другого тревожнее. Уже официальные работы губернских комитетов должны были глубоко разочаровать тех, кто надеялся, что эти учреждения будут мирно разрабатывать экономические и юридические подробности реформы „по указаниям“ рескриптов и главного комитета. Провинциальное дворянство не ограничилось — да и не могло ограничиться — этой скромной задачей. Политическая сторона падения крепостного права могла бы ускользнуть разве от очень тупых и индифферентных людей, — какими члены дворянских комитетов вовсе не были. Помещик при крепостном праве был не только хозяином в своем имении: ему принадлежала крупная доля государственной власти над его крепостными. К кому же перейдет эта доля власти после освобождения крестьян? Рескрипты глухо говорили о том, что „вотчинная полиция“ оставляется за помещиком. Но что это значит? Значит ли это, что помещик сохранит некоторое

*) „Материалы для истории упразднения крепостного состояния“. I, стр. 175—179.

ограниченное право полицейского надзора внутри своего хозяйства — право смотреть за порядком в своей усадьбе, налагать домашние наказания на свою прислугу и рабочих? Но на этот счет у большинства не было никаких сомнений — и интересно было не это. Сохранят ли вчерашние „подданные“ какие-нибудь обязательные юридические отношения к своим бывшим „государям“, как они должны были сохранить к ним на время обязательные экономические отношения? Очень многие комитеты, — и, характерным образом, преимущественно те из них, которые мечтали сделаться „монополистами ценного товара — чернозема“, — готовы были сохранить за помещиком в несколько измененных юридических формах всю ту власть, которою он пользовался и раньше. Они доходили до того, что предоставляли бывшему барину заключать своих бывших крепостных „в смирительные и рабочие дома, в арестантские роты гражданского ведомства и другие исправительные заведения“, обставляя это лишь формальностью „утверждения“ со стороны местного присутствия, где должны были преобладать тоже помещики. А на злоупотребления помещика можно было жаловаться лишь с разрешения „добросовестных“ сельских старшин и иных деревенских властей, которых, в свою очередь, помещик мог „удалять и заменять новыми“, иногда даже без чьего-либо согласия или „утверждения“. Могилевские дворяне, кроме того, желали, чтобы и право выдачи паспортов крестьянам было сохранено за помещиками, после чего разница между старым и „новым“ порядком сглаживалась уже до неузнаваемости. Все эти „проекты“ смотрели назад, а не вперед, — в них повидимому, нельзя было еще усмотреть ничего крамольного. Но в мотивировке даже и этих реакционных планов звучали иногда тревожные ноты. Так, калужское большинство, мотивируя оставление полицейских полномочий за помещиком, утверждало, что „передача помещичьей власти в руки местной полиции не будет соответствовать ожиданию крестьян и не оградит их от произвола; что самоуправство чиновников следовало бы заменить управлением, соответствующим духу народа, которому предоставить выбор попечителя из местных дворян, пользующихся его доверием; что народ не

отвергает неоспоримого права дворян участвовать в управлении, и, несмотря на неистовые выходки поборников известной пропаганды, принявших на себя личину любви к России и резко напоминающих сословные нападки 1789 года, сознает высокое значение дворян, как самого твердого оплота престола и государственного порядка". Таврический комитет ограничился глухим утверждением, что „вековая связь между помещиком и крестьянами не может и не должна быть вдруг разорвана, но она принимает другую форму, более сообразную с законами справедливости и современными понятиями".

Комитеты, экономически более прогрессивные, шли гораздо дальше этой какофонии, — где уверения в преданности престолу так странно чередовались с ссылками на волю народа, будто бы желающего вечно оставаться в подчинении у дворян. Уже несравненно тоньше и искуснее аргументировал в пользу той же идеи смоленский комитет, ставивший все вопросы, и экономические, и политические, с редкой отчетливостью, как в этом мы могли убедиться на примере личного выкупа. „Сельское управление,—писали смоленские помещики,—должно быть составлено преимущественно из лиц местного дворянского сословия, которым близки местные интересы и знакомы местные условия: по своему положению и знанию дел они внушат к себе более доверия, чем всякое постороннее лицо; но власть их должна быть основана на общественном доверии и избрании, а не на праве на имущество". Грубая форма вотчинной полиции казалась поэтому смольнянам совершенно не соответствующей требованиям времени: сельское управление должно быть основано на таких началах, которые „и не напоминали бы прежних владельческих отношений". И в этом вполне был согласен со смольнянами самый прогрессивный из всех — тверской комитет. Личное вмешательство помещиков в дела крестьян повело бы только к разным неприятным столкновениям,—утверждали тверичи. „Вследствие этого суд и попечительство над крестьянами должны быть переданы всему сословию дворян".

Эта еще очень консервативная формулировка тверского меньшинства (по существу, как мы сейчас увидим, большинство и меньшинство тверского комитета расходились как раз менее всего в данном вопросе) далеко отставала от того, что находил нужным и возможным сказать вождь большинства тверичей в своем отзыве на работы редакционных комиссий. Правда, Унковский писал это далеко позже того хронологического момента, на котором мы сейчас стоим, писал, когда только назревавший в период занятий губернских комитетов конфликт был в полном разгаре. Но время написания могло отразиться разве на форме мыслей Унковского; те же идеи красною нитью проходили через всю работу комитета.

Крестьянская реформа останется пустым звуком, положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, останется мертвою бумагою, наравне со всеми прочими томами наших законов, если освобождение крестьян не будет сопровождаться коренными преобразованиями всего русского государственного строя. Вот главная и основная из этих идей. В настоящее время новое устройство управления является в России первою и главною потребностью,— писал Унковский. Вся Россия разделяется на вотчины частные и вотчины государственные, и повсюду господствует полный произвол; в одной половине, в частных вотчинах, этот произвол умеряется собственными выгодами владельцев, которые более или менее связаны с благосостоянием подвластных лиц... Другая половина России, расписанная по разным ведомствам, не знала иного порядка вещей и, принадлежа по нравам и положению к крепостному сословию, терпеливо сносила произвол в своем управлении, тем более, что поместное дворянство, имевшее выгоду в сохранении общественного спокойствия, умеряло произвол местных чиновников, не допуская их до открытого грабежа... Вот истинные причины, по которым мог держаться до этого времени настоящий порядок вещей... При освобождении крепостных крестьян этот порядок лишится всякой опоры. Если управление останется попрежнему, то помещичьи крестьяне должны неминуемо подпасть под необузданный произвол чиновников. В сущности, ведь все равно, быть ли крепостным

помещика, или крепостным чиновника, и даже еще лучше быть крепостным помещичьим... Чего же можно ждать от народа, если он будет обманут в своих надеждах... Для охранения общественного порядка нужно прочное обеспечение строгого исполнения законов, а при нынешнем управлении, — где это обеспечение?..

Упорядоченный буржуазный режим требовал и новой юридической оболочки. Нельзя было ввести новый хозяйственный строй и оставить старые законы и старую администрацию, постарому применявшую эти законы. Нужно сказать, что в своих положительных требованиях по части этой новой оболочки, Унковский был гораздо скромнее и умереннее, чем в своей критике. На юридический источник феодального произвола он и не думает посягать. Признавая, что „самодержавие находится в руках низших чиновников", и что это очень худо, он не задается вопросом, что же собственно худо: то ли, что в стране вообще существует узаконенный произвол, и администрация „представляет целую систему злоупотреблений, возведенную на степень государственного устройства", или что этим „правом на произвол" слишком многие пользуются? А из его сожалений о том, что „самодержавная воля плохо исполняется" и „верховная власть лишена на деле всякой власти" — придирчивый читатель мог бы, пожалуй, заключить, что наш непримиримый враг произвола удовлетворился бы, может быть, на деле весьма скромной формой „правового порядка", вроде просвещенного деспотизма Фридриха II. В сущности, дальше ответственности чиновников Унковский не шел: все рекомендуемые им нововведения — гласность, независимый (от местной администрации) суд, ответственность должностных лиц перед судом, „строгое разделение властей" и „самоуправление общества в хозяйственном отношении", при сохранении политического абсолютизма — могли обуздать произвол разве провинциальных администраторов не выше губернатора, а на практике, вероятно, не обуздали бы даже и их. Но уже тот факт, что тверской комитет вышел из рамок крестьянского вопроса в тесном смысле слова и коснулся сюжетов, строго запретных в глазах николаевского правительства, каким продолжало быть правительство

Александра II, — уже одно это должно было сразу оживить в правящих кругах все то злобное недоверие ко всякой инициативе снизу, которое составляло „душу живу“ всей николаевской системы. Прибавьте к этому, что дерзость большинства тверского комитета не являлась одиночным фактом, что именно в этом пункте оно было ближе к средним дворянским тенденциям, чем в чем-либо другом. Представитель тверского меньшинства, Кардо-Сысоев, владимирский депутат Безобразов, новгородский — Косаговский, рязанские — кн. Волконский и Офросимов, харьковские — Хрущов и Шретер говорили по поводу „существующего порядка“ почти то же, что и Унковский, и почти теми же словами. „Ежели более или менее патриархальное управление помещиков признается несовременным, тягостным для крестьян,— писал Кардо-Сысоев,— то тем больше вредно и невозможно начало бюрократическое в управлении свободными обществами. Чиновник-бюрократ и член общества — два существа совершенно противоположные“. И несогласный с экономическими взглядами Унковского тверской „меньшевик“ в этом пункте одинаково поддерживал оба проекта тверского комитета — и большинства и меньшинства. „Чтобы оправдать доверие государя и осуществить его ожидания,— писал в весьма многом несогласный с Унковским Безобразов,— на дворянах лежит священная обязанность указать твердые основания к благоденствию страны и, возрождая народ, дать ему не одни только средства к жизни, но вполне оградить его от всякого произвола и стеснений — указать ему широкий путь к разумному развитию и положить конец злоупотреблениям“. Перед этим шло обычное, почти как формула, сравнение крепостного права, „то сурового, то мягкого“, с „произволом, жадностью и лихоимством чиновников“, всегда суровыми и никогда не смягчающимися, а дальше следовали те же мероприятия, что и у Унковского „строгое разделение властей“, „хозяйственно-распорядительное управление, выборное от всех сословий и ответственное только перед судом и обществом“ „непосредственная ответственность всех и каждого перед судом“ (не исключая чиновничества) и т. д. А заявления рязанских депутатов производят впечатление почти списанных с мнения тверских...

„Чиновники деспотически управляют всем народом, не допуская до правительства истины, — говорили кн. Волконский и Офросимов.—По освобождении крестьян таковой порядок вещей будет лишен всякой опоры; крестьяне попадут под крепостную зависимость чиновников, всегда худшую, чем помещичья, ибо чиновник, руководясь тем же произволом, не имеет никаких выгод в сохранении благосостояния крестьян. Крестьяне будут обмануты в своих надеждах...“ Прибавьте к этому, что в частных разговорах люди были, конечно, откровеннее, нежели в официальных записках, и не стеснялись называть своими именами то, на что там были только намеки — и общее впечатление правительственных кругов будет для нас достаточно понятно. Это общее впечатление окончательно окристаллизовалось в известной записке, представленной Александру II министром внутренних дел Ланским в августе 1859 года.

„С самого появления рескриптов,—читаем мы в этой записке,—противники освобождения крестьян пугали, что дворянство взамен крепостного права потребует прав политических. Думаю, что и теперь есть люди, которые говорят о конституции лишь с целью напугать правительство и задержать крестьянское дело. Но не подлежит сомнению, что некоторые действительно желают воспользоваться настоящим случаем, чтобы понемногу ввести представительное правление в решение дел государственных“. Само собою разумеется, что министр находил эту мысль противною „и нашим нравам, и степени образования, и коренным государственным интересам“. Само собою разумеется, что ответственность за злоупотребление и лихоимство он старался свалить обратно — с чиновничества на голову дворянских обличителей. Но он был решительно неправ, утверждая, будто „все это есть не что иное, как пошлое подражание иностранным памфлетистам, происходящее от совершенного незнания отечественного быта и крайней незрелости в мыслях“. Проекты дворянства всего меньше можно было упрекнуть в том, что под ними нет „исторической почвы“: скорее напротив, они были чересчур „историческими“. Анализируя их конкретные подробности, мы

узнаем в них родных внуков того аристократически-либерального „монархизма“, который вдохновлял публицистов века Екатерины, который дал теоретическую основу проектам „старых служивцев“ при Александре I — и отзвук которого мы нашли даже в политических планах декабристов. Чисто буржуазная идеология давалась русскому дворянству в конце 50-х годов так же туго, как и в середине 20-х — даже больше: в этом отношении мы замечаем отнюдь не прогресс, а скорее регресс, а в лучшем случае стояние на одном месте. Вот как рисовало себе, например, либеральное меньшинство калужского комитета будущую Россию, освобожденную сразу и от крепостного права, и от опеки и произвола чиновников. „Дворянству, взамен отходящей от него крепостной власти, предоставляется право участия в местной администрации“. Затем за ним же остается „важное право ходатайства в пользу местных интересов“. Далее: „гласное отправление суда есть высший аттрибут человеческого достоинства, высшее проявление той духовной силы, которая делает человека царем мироздания“. Отсюда ясно, что суд также должен быть поручен дворянам. Для того, чтобы „привлечь“ дворян к занятию административных и судебных должностей (хотя казалось бы, что же еще „привлекать“ людей к тому, что само по себе так почетно и влиятельно), эти последние предполагалось сделать „ступенью для достижения высших государственных должностей“. Не решаясь прямо потребовать, чтобы губернаторов выбирали дворяне, их предлагалось назначать, но по указанию „общественного мнения — верного ценителя достоинств и заслуг“, из людей, ранее уже отмеченных божественным перстом дворянского избрания. Чем это, в самом деле, хуже „людей, доверенностью нашею и общею почтенных“, из которых составил свой первый Государственный Совет Александр Павлович? А чтобы общественное мнение как-нибудь не ошиблось, указав не дворянина, калужские дворяне признавали существенно полезным „предоставить дворянскому сословию право контроля над желающими войти в него новыми членами“ — „в видах государственной пользы, для доставления дворянскому элементу прочности, основанной на нравственных началах“. Сделаться дворянином можно было, по этому проекту, только с согласия

одного из дворянских обществ — путем баллотирования. Тут уже приходится припомнить времена не Александра I, а его бабушки, и дворянские наказы комиссии 1767 года — если не „шляхетские“ требования 1730 года. Пожелания, чтобы в России были введены субституция и маиорат, достойным образом заканчивают этот архидворянский проект. Как видим, истории в нем хоть отбавляй, и если здесь повинен какой-нибудь „иностранный памфлетист“, то разве покойный „президент Монтескье“, столь безжалостно „ограбленный“ в свое время Екатериной II. Осуществление этой архаической утопии означало бы, что весь экономический и социальный прогресс, показателем которого явилась реформа 19 февраля, был лишь призраком, и что Россия вернулась опять к разбитому корыту крепостного хозяйства второй половины XVIII века. Но в половине XIX столетия опасаться чего-нибудь подобного было бы смешно, и министр Александра II напрасно тратил порох на такого противника. А между тем выставить что-нибудь более грозное, — грозное хотя бы идейно, в теории, — дворянские комитеты были решительно не в состоянии. Не договариваясь до таких наивностей, как калужские либералы, даже Унковский не мог, однако, разорвать этот заколдованный круг дворянской идеологии. Он модернизовал только те доказательства, которыми обычно подкреплялось прирожденное право дворян повелевать и прирожденная обязанность крестьян повиноваться. Он спрашивал: как устранить дворян от участия в общественных делах, оставив одних крестьян с их невежеством и безграмотностью? Но и в этом случае его предупредил один из членов комиссии 1767 года — Строганов, обещавший крестьянам „собственность и вольность“, когда они будут „просвещеннее“. К тому же сам Унковский только что блестяще побил этот аргумент, с большой горячностью ополчившись на ходячее возражение против суда присяжных, будто русский народ недостаточно образован и потому до этой формы суда не дорос. Сам Унковский доказывал, что для суда присяжных нужны только „здравый смысл и добросовестность“: но почему же это недостаточно для мелких дел местного управления в кругу отношений, одинаково хорошо знакомых всем сельским

жителям? А другие аргументы в пользу дворянского управления вроде того, что „народ, если и не любит дворян, то во всяком случае верит идущим от них слухам“, или того, что лишь „одни дворяне-землевладельцы имеют истинную выгоду в сохранении общественного спокойствия“, тогда как „чиновникам, напротив, беспорядки выгодны“ — только подчеркивают теоретическую слабость занятой тверскими либералами позиции, на полдороге между допотопным лэндлордизмом и слишком радикальной даже для Унковского буржуазной теорией господства собственности, — собственности вообще, независимо от происхождения собственника. И нельзя не сознаться, что даже скромная земская реформа Александра II оказалась с этой социальной стороны не правее пожеланий самого передового из губернских комитетов, и что среднему уровню требований всех комитетов гораздо больше отвечала контр-реформа Александра III.

Повторяем, никакого серьезного „посягательства“ на права и прерогативы верховной власти здесь, вероятно, не нашла бы даже очень ревностная прокуратура. Надо было быть чиновником, воспитанным в школе Николая I, для того, чтобы встревожиться от умереннейших и консервативнейших заявлений губернских комитетов. Однако, мы видели, что Ланской встревожился не на шутку: а не нужно забывать, что за Ланским стоял в это время талантливейший из чиновников, оставленных Николаем I в наследство своему сыну, — Н. А. Милютин. Максимальной температуры эта тревога достигла в конце лета 1859 года, с приближением момента, когда в Петербург должны были съехаться главари дворянских крамольников, депутаты I призыва. Но в своей записке Ланской упоминает, что первый из документов, убедивших его в существовании у дворянства злокозненного намерения воскресить „Боярскую думу“ — именно памфлет Николая Безобразова — дошел до него „год тому назад“, т. е. еще осенью 1858 года*). Но было бы странно, если бы о настроении дворянского общества высшая администрация узнавала только из памфлетов: у нее, конечно, были гораздо более прямые источники. Когда будут опубликованы бумаги

*) Этого памфлета, напечатанного тогда же за границей, не следует смешивать с известной запиской М. Безобразова, о которой ниже.

бывшего III отделения царской канцелярии, можно будет детально проследить, как сведения из этих прямых источников мало-по-малу стекались к центру. Если будет когда-нибудь опубликована интимная переписка Александра II с его ближайшими советниками, мы сможем наблюдать шаг за шагом, как под впечатлением этих известий созревал новый курс крестьянской политики зимою 1858 — 59 г. Пока мы можем отметить только главнейшие этапы этого процесса — по косвенным, но достаточно характерным признакам. 18 октября 1858 года, после значительного перерыва, происходило весьма торжественное заседание главного комитета по крестьянскому делу, под председательством императора. Решения этого заседания обычная традиция, все сводящая к личным влияниям, ставит в связь с возвращением из за границы генерал-адъютанта Ростовцева, который около этого времени становится „начальником штаба по крестьянской части“ при Александре II, как Киселев был таким при Николае Павловиче. Действительно, некоторые фразы протокола целиком списаны с писем Ростовцева (из-за границы) к императору; с этими письмами нам еще придется иметь дело в дальнейшем. Но характерны и новы в заседании 18 октября не эти черты: характерно и ново то почти нескрываемое недоверие к дворянству, которое проходит красной чертой через весь протокол заседания. Уже в самом начале, в пункте 2, министру внутренних дел ставится в обязанность особым циркуляром потребовать от всех комитетов, „чтобы они... непременно объяснили во всей подробности, чем состояние помещичьих крестьян (по их проектам) улучшается в будущем, *объявив комитетам, что в справедливости их показаний император вполне полагается на их дворянскую честь*...“ Когда требуют показания под честным словом — значит, сомневаются, чтобы без этого условия была сказана правда; нельзя было бесцеремоннее намекнуть, что представители дворянства подозреваются в намерении надуть правительство. Следующий, пункт 3, журнала развивает дальше тот же мотив. Получив от дворянства показания под честным словом, министерство внутренних дел (т. е. собственно его земский отдел, учрежденный специально для работ по

крестьянскому делу) должно было подвергнуть каждый комитетский проект внимательному рассмотрению на предмет того: а) нет ли в нем каких-либо отступлений от начал и указаний, высочайше утвержденных собственно для крестьянского вопроса? б) нет ли в нем отступлений вообще от духа государственных узаконений? и в) действительно ли улучшается им быт помещичьих крестьян, и в чем именно? Особенно пикантна была эта последняя операция—фактическая проверка того, за что дворяне только что поручились честным словом. Но собака зарыта, конечно, не здесь, а в бункте *б*, корнем недоверия к дворянству была именно неуверенность в том, что проекты комитетов во всем согласны с „духом государственных узаконений". Журнал заседания 18 октября — чисто политический документ, дающий нам четкую линию разрыва, только что происшедшего между двумя группами дворянства: дворянством придворным и чиновным, владеющим и правившим, выразителем мнений которого был главный комитет,—и дворянством провинциальным, владевшим, но не правившим, до сих пор не смевшим свое суждение иметь, но теперь нашедшим для этого орган в лице губернских комитетов по крестьянскому делу. И чтобы не оставалось сомнений, с кем собственно ведется борьба, главный комитет делает первый шаг к тому, чтобы разрушить тот план всероссийского дворянского собрания, сообща с главным комитетом решающего крестьянский вопрос, который увенчивал собою здание дворянских надежд и чаяний. Пункт 10 журнала 18 октября категорически устанавливает, что в занятиях главного комитета могут и будут принимать участие „не только члены, избранные от губернских комитетов", т. е. не только представители дворянства, но и „все те лица (эксперты), которые своими познаниями в сельском хозяйстве и быте крестьян могут принести пользу рассматриваемому делу". А чтобы заранее показать, что правительство поставит на од у доску с дворянскими депутатами и своих собственных агентов, дальше говорится о вызове с той же целью губернаторов и членов губернских комитетов по назначению губернаторов. Все это — журнал комитета не оставляет в том ни малейшего сомнения — лишь различные и притом вполне равноправные источники информации:

решающий голос правительство признает только за собой, и ни за кем больше.

Собственно, формальная сторона конфликта, разыгравшегося в начале осени следующего 1859 года, в заседании 18 октября уже наметилась сполна. Но дело не могло ограничиться одной формальной стороной. Нельзя было сказать: „Теперь я буду решать дело, а не вы“ — и все же решить его так, как наметили комитеты. Политический элемент, ворвавшись в крестьянский вопрос, должен был разрушить ту социальную гармонию, которая спаивала в одно целое при Николае правительство и дворянство. В первые дни царствования его сына страх перед пугачевщиной еще усилил на короткое время эту спайку: за пугачевщиной можно было забыть о конституции, — тем более, что с 1825 года ничто о ней и не напоминало. Теперь пугачевщина оказалась мифом, а „конституционные вожделения“ — совершенно неожиданной реальностью. Тем, кто владел и правил, владение начинало казаться более или менее обеспеченным — опасность грозила политической власти. „Мужик с факелом“ вдруг стал лойяльнейшим верноподданным, а верноподанный еще вчера дворянин — едва не Робеспьером. И в первую минуту ничто не могло быть естественнее, как перенести свое благоволение с одной социальной группы на другую. В первую минуту так оно и случилось.

В заседаниях 19, 22 и 29 ноября 1858 году, происходивших в столь же торжественной обстановке, были заново установлены „те главные основания, которыми должны руководствоваться“ главный комитет и учрежденная при нем комиссия при рассмотрении губернских проектов. „Главные основания“ рескриптов и сопровождавших их министерских циркуляров, очевидно, считались устаревшими. Действительно, новые принципы, усвоенные теперь главным комитетом, шли несравненно дальше того, что признавалось допустимым год назад, и шли дальше именно в направлении крестьянских интересов. Рескрипты связывали освобождение с выкупом усадьбы, под которым комитеты, с молчаливого согласия правительства, как мы видели, разумели выкуп личности. Только заплатив за себя барину в той или иной форме, крестьянин приобретал, по рескриптам,

права свободного человека. Журнал 4 декабря 1858 года (резюмировавший результаты трех названных нами выше заседаний главного комитета) постановил, что „право свободных сословий, лично, по имуществу и по праву жалобы", крестьяне получают немедленно по обнародовании нового положения, — без каких-либо дополнительных условий. Рескрипты оставляли вотчинную полицию за помещиками: журнал 4 декабря категорически заявляет, что „власть над личностью крестьянина... сосредоточивается в мире и его избранных... Помещик должен иметь дело только с миром, не касаясь личностей". И, наконец, рескрипты отдавали землю крестьянам только в пользование: мы видели, что этого принципа министерство внутренних дел сначала держалось так твердо, что запрещало рассуждения о выкупе земли крестьянами в собственность даже самим дворянским комитетам — являясь в данном случае более помещиком, чем сами помещики. Теперь об этом не было и помину: журнал 4 декабря без околичностей заявлял, что „необходимо стараться, чтобы крестьяне постепенно делались земельными собственниками. Для этого следует: а) сообразить, какие именно способы могут быть предоставлены со стороны правительства для содействия крестьянам к выкупу поземельных их угодий..." А еще недавно над словом „выкуп" было произнесено как бы проклятие, и всякий раз, как Ланской заикался о нем государю, его прерывали словами: это невозможно, об этом нельзя и думать" *). Так политическая борьба сразу разрубила Гордиев узел. Если крупное землевладение становилось крамольным, надо было в противовес ему создать мелкое землевладение облагодетельствованных и верноподданных крестьян.

Основные линии нового курса были теперь твердо обозначены. Оставалось выработать его подробности. Мы уже знаем, что само правительство именно в этой области было совершенно бессильно: у него не было ни людей, ни знаний, ни уменья найти людей и приобрести знания. Волей-неволей пришлось передать на время свою власть тем, кто не стоял на высших ступеньках бюрократической лестницы, но зато обладал знаниями и умел их прилагать к делу. То

*) Записки М. А. Милютиной. „Рус. Стар." 1899 г., январь.

были отчасти чиновники, но второстепенные, отчасти те же помещики, но такие, в благонамеренности которых правительство не сомневалось. Из тех и из других было создано учреждение, совершенно беспримерное в нашей административной истории, которое не было приурочено ни к какому ведомству и не нашло бы себе места в табели о рангах, но которое вмешивалось в дела всех ведомств и заставляло склоняться перед собою „тайных и даже действительных тайных советников“, напоминая им, что время их „миновало безвозвратно“, по горькому признанию одного из номинальных „начальников“ этого странного учреждения, графа Панина. Горечь была преждевременной: тайные советники очень быстро вернули себе всю присвоенную их рангу власть, и окончательное решение было все же произнесено ими. Но в истории освобождения крестьян осталась полоса яркая и характерная, без которой нельзя и представить себе этой истории. Этой полосой является деятельность редакционных комиссий.

Официально редакционные комиссии, как показывает их название, преследовали скромную цель — окончательной редакции положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. С этой точки зрения они занимали, таким образом, весьма второстепенное место — вспомогательного, рабочего учреждения, при так называемой „особой комиссии“ главного комитета („комиссии четырех“, как ее еще иногда называют, потому что она состояла из четырех лиц: Ланского, Панина, М. Н. Муравьева и Ростовцева). На деле „особая комиссия“,— как без труда можно было догадаться по ее составу, — оказалась совершенно неработоспособной, и официальное положение редакционных комиссий не имело никакого отношения к ее действительному значению. „В порядке подчинения редакционные комиссии стояли фактически во все время их занятий в непосредственном ведении государя императора чрез своих председателей: сначала Я. И. Ростовцева, а потом графа В. Н. Панина, вне всякого подчинения государственным учреждениям“,—говорит их историк, —„так что в действительности они составляли сами как бы отдельное в государстве временное учреждение“ *). Этот

*) Н. П. Семенов. — „Освобождение крестьян в царствование императора Александра II“. I, 15.

историк возводит мысль о создании такого учреждения к двум запискам: одной Милютина, другой Ростовцева, почти одновременно представленным Александру II в начале 1859 г. На самом деле эта мысль гораздо старше: мы уже упоминали, что первый эскиз редакционных комиссий, вполне точно намечающий основные линии их деятельности и почти точно их состав, встречается в одной записке Кавелина, составленной по поручению вел. кн. Константина Николаевича еще в 1857 году. В то время не было еще губернских комитетов, и Кавелин не имел надобности маскировать истинную цель занятий своей комиссии официальным предлогом рассмотрения и окончательного редактирования выработанных комитетами проектов. Но с этим официальным предлогом весьма мало церемонились даже в официальных документах: редакционная задача комиссий была выдвинута на первый план только в указе сенату, распубликованном во всеобщее сведение. В более интимном „уведомлении", которое получил первый председатель комиссии от председателя главного комитета, прямо было сказано, что комиссии, наряду с составлением свода из проектов губернских комитетов, „обязаны постановить свои окончательные заключения и начертать проекты положений, руководствуясь высочайшими повелениями, на сей предмет последовавшими, высочайше утвержденными положениями главного комитета по крестьянскому делу и постановлениями комиссии сего комитета" (т. е. бездействовавшей комиссии четырех). При этом редакционные комиссии обязаны были „принимать в соображение" весьма многое, но только никак не проекты, составленные губернскими комитетами; с ними они считаться вовсе не обязаны.

Председателем редакционных комиссий*) и „непосредственным начальником" их был назначен давний сотрудник Александра II, еще в бытность его наследником, генерал-адъютант Яков Иванович Ростовцев: когда цесаревич Александр Николаевич числился начальником военно-учебных заведений, Ростовцев был при нем начальником штаба,

*) Множественное число в названии этого учреждения получилось потому, что сначала предполагалось две комиссии: одна для разработки общих начал, другая для местных положений.

т. е. фактически управлял этими заведениями. Имя Ростовцева известно теперь почти всякому грамотному человеку, и мы с трудом можем себе представить, что было время, когда с этим именем связывались самые тягостные представления. Когда будущий фактический руководитель занятиями редакционных комиссий, Николай Милютин, узнал, что ему придется работать вместе с Ростовцевым, он пришел в самое подавленное настроение и две недели не мог решиться даже поехать с визитом к своему будущему председателю. Только убеждение, что от „подобного дела отказаться нельзя“, преодолело его колебание. А Милютин недаром славился в кругу своих друзей „оборотливостью“ своего ума и умением вести дела „посреди самых затруднительных обстоятельств и препятствий“. Недоумение более широких и менее посвященных кругов, выразившееся в известном отзыве Герцена, было, таким образом, более, чем понятно. Любопытно то, что отзвуки этого первоначального мнения о Ростовцеве продолжались слышаться и долго после, когда сам он уже сошел в могилу и его деятельность по крестьянской реформе была у всех перед глазами. Один из его ближайших сотрудников по редакционным комиссиям, Я. Соловьев (умерший в 1876 г.), в своих записках готов изобразить иногда своего бывшего „начальника“ вульгарным интриганом, руководившимся исключительно желанием забрать всю власть в свои руки. Соловьев был человек желчный и злопамятный; но и отзывы людей, гораздо более объективных, не имевших против Ростовцева никаких „личностей“, весьма далеки от легендарного образа, так знакомого теперь читающей публике. Автор первой по времени истории крестьянской реформы,— вышедшей в 1861 г. в Берлине под скромным именем „Материалов для истории упразднения крепостного состояния в России“,—горячий сторонник эмансипации и большой знаток крестьянского дела, Д. Хрущов, сравнивая — по поводу смерти Ростовцева — покойного председателя редакционных комиссий с его заместителем, гр. Паниным, находит в этих двух столь противоположных людях одно сходство: „оба страшные деспоты, оба вместе с тем страшные льстецы верховной власти“. „С веселым, шутливым характером, поль-

зуясь даже от рождения косноязычием, как средством забавлять и смешить, он (Ростовцев) скоро успевал нравиться, особливо высшим, и делался человеком, необходимым в домашнем быту. Можно бы сделать богатый сборник из всех острот и шуток, которыми он потешал в течение многих лет великого князя Михаила Павловича и покойного государя. С помощью этого искусства он успевал благотворить другим, не забывая и собственного возвышения. В делах гражданских он никогда не упражнялся и не имел о них никакого понятия. Тем не менее, и особенно в последние годы его жизни, когда круг его деятельности по управлению военно-учебными завединиями становился тесным для его беспрерывно возраставшего честолюбия, он имел претензию упражняться и в высших государственных вопросах и с наслаждением читал своим подчиненным сочиненные им по разным предметам записки, любя пристрастные их похвалы и вынужденный фимиам“ *).

Хотя автор и прибавляет в заключение этой малолестной характеристики, что хорошее преобладало в Ростовцеве над дурным, он едва ли удовлетворит этим своего читателя. С точки зрения индивидуалистической историографии, никакими „смешениями“ и „хорошего“ и „дурного“ не объяснишь, как т а к о й человек мог сделаться светлым ангелом крестьянской реформы. Предоставляя психологическую разгадку первого председателя редакционных комиссий представителям этого исторического направления, с своей точки зрения, мы не видим никакого противоречия между личными свойствами Ростовцева, как они описаны выше, и его исторической ролью. Александру II в начинавшемся им походе против залиберальничавшего дворянства был нужен человек, безгранично ему преданный и по возможности не связанный ни своими общественными отношениями, ни чересчур определенными политическими убеждениями; последних, как мы уже знаем, Александр Николаевич и вообще не жаловал, — недаром он и преемника Ростовцева, Панина, назначил по той главной причине, что у того не было никаких убеждений. Ростовцев, внук слесаря и сын купца, позже выбравшегося в чиновники, всей своей карьерой обязанный

*) „Материалы“, т. II, стр. 381 и 19.

императору Николаю, чужой в дворянском обществе,— которое, само некогда предав декабристов, тем не менее считало своим долгом „не прощать“ Ростовцеву, что он первый рассказал Николаю о заговоре — был именно таким человеком, который требовался Александру II в эту минуту во главе крестьянского дела. Что взгляды Ростовцева на это дело не отличались ни определенностью, ни глубиной, и не обнаруживали в нем больших познаний — это была наименьшая из бед. Зато они обладали завидной гибкостью и приспособляемостью к обстоятельствам. В своих письмах к Александру из-за границы Ростовцев,— тогда еще только член главного комитета,— разделяет еще все иллюзии первого, „дворянского“, периода реформы. Выкуп он считает невозможным, называет его „утопией“ — и не только потому, что для него необходимо „посредничество огромных капиталов“, которых у правительства нет, но и потому, что его нельзя провести „без нарушения прав помещика“. Помещик остается „начальником всей общины“: „оскорбление помещику и членам его семейства, нанесенное крестьянином, судится, как преступление уголовное, как оскорбление отца“. Порядок во время самого освобождения обеспечивается, во-первых, чрезвычайными генерал-губернаторами (идея эта, вызвавшая, как мы видели, такой горячий спор Александра II с его министром внутренних дел, принадлежала именно Ростовцеву), а во-вторых, на местах уездными начальниками — причем в списке лиц, пригодных для занятия этой последней должности, странным образом перемешиваются камергеры и „достойные офицеры гвардии“ с „бывшими студентами университетов и равных оным высших учебных заведений“. Ростовцев в это время (август — сентябрь 1858 года) еще вполне разделял быстро старевший предрассудок о неизбежности пугачевщины, сохранив его даже и долго после: „мужик с топором“ зачастую всплывал в речах во время заседаний редакционных комиссий. Но любопытно, что значение этого мифического мужика с течением времени радикально изменилось: в письмах возможность беспорядков вызывает только заботу об ограждении прав и безопасности помещика — а в редакционных комиссиях та же опасность выдвигается уже против помещика, как аргумент в пользу

сохранения за крестьянами в неприкосновенном виде их земельного надела.

Ростовцев, очевидно, не мог быть руководителем занятий редакционных комиссий—он мог только наблюдать за тем, чтобы они не отступали от принципов, одобренных императором и главным комитетом, но от него большего и не требовалось: роль положительная и творческая новым курсом с самого начала была отведена другому человеку, которого сам Ростовцев в шутку называл „нимфой Энергией“. Этим человеком был Николай Алексеевич Милютин. То, что было для Ростовцева служебным долгом, который он выполнял добросовестно и с большим официальным рвением,—но не по собственному почину и выбору, а просто потому, что ему приказали делать именно это, а не другое: сегодня учить кадетов, завтра освобождать крестьян,—то для Милютина было вполне личным делом, вытекавшим из глубочайшего внутреннего убеждения. В придворных кругах, как мы уже знаем, этого человека считали „красным“, чуть не якобинцем; озлобленные дворяне впоследствии обвиняли его в „коммунизме“. Но удивительнее всего, что либеральная историческая традиция тоже записала его в свой синодик,—как бы подтверждая этим своим приговором, если не последнее, то первое из двух указанных мнений. На самом деле Милютин был одинаково далек и от коммунизма, и от якобинства,—в особенности от либерализма. На заре капиталистического развития мы во многих странах встречаем фигуру министра, сознательно приносящего политическую свободу общественных верхов в жертву материальному благосостоянию массы. „Поднять и поставить на ноги угнетенную массу“ — эти слова из одного позднейшего письма Милютина (писанного им из Польши) могли бы служить девизом всей его деятельности. Но как у всех деятелей того же типа,—как у Помбаля, Струэнзе или Иосифа II,—этот своеобразный наивный демократизм сопровождался чертой совершенно антидемократической, до фанатизма доходящей верой в то, что только неограниченная государственная власть способна совершить это чудо: голодных рабов сделать сытыми и счастливыми людьми. В своей слепоте люди этого типа не замечали, что они, в сущности,

стремятся заменить один вид рабства другим: феодальную зависимость массы от частных лиц, свойственную натуральному хозяйству — государственным рабством, характерным для эпохи первоначального накопления. Но они не замечали этого совершенно искренно, — и это придавало необыкновенную цельность всей их деятельности и железную твердость их натиску на „олигархические“ свободы привилегированных верхов, против которых они ополчались. В первый период крестьянской реформы, когда она казалась всецело отданной в руки дворянских комитетов, не было человека несчастнее Милютина. „В каких теперь все это руках?“ — писал он в начале 1858 г. своему дяде, бывшему министру государственных имуществ Николая Павловича, гр. Киселеву, — Что за бессмыслие и неурядица! Горестно вспомнить, как творится такое трудное и важное дело. Дворянство, корыстное, неподготовленное, неразвитое, предоставлено собственным силам. Не могу себе представить, что выйдет из этого без руководства и направления при самой грубой оппозиции высших сановников, при интригах и недобросовестности исполнителей. Нельзя не изумляться редкой твердости государя, который один обуздывает настоящую реакцию и силу инерции“. По горькой иронии судьбы, именно этот государь, о котором автор письма был такого высокого мнения, — именно он-то больше всего и не доверял своему почитателю. Стоит прочесть — в записках вдовы Милютина — длинную трагикомедию назначения „красного“ директора департамента товарищем министра внутренних дел: Александр II употреблял все усилия, чтобы отделаться от Милютина, и подверг его, — двадцать лет прослужившего чиновника, дослужившегося до генеральских чинов, — чему-то вроде специального экзамена по благонадежности. Только по удовлетворительной сдаче этого высочайшего экзамена Милютин удостоился назначения — и то не товарищем, а лишь „временно исполняющим обязанности товарища“ министра. Слово „временно“ было заботливо вписано самим Александром Николаевичем, — в сенатском указе его, было, пропустили.

Так как у нас в доброе старое время, — когда не было еще ни программ, ни партий, — принято было считать либералами всех, кто состоял на подозрении у правительства, —

то едва ли не этой истории обязан своей либеральной репутацией и Милютин. Вероятно, по этой причине и наивный Ростовцев относил его к либералам: „Человек вполне современный и весьма способный", — говорил о Милютине его будущий „начальник", как же не либерал? К чести Александра II нужно сказать, что в этом вопросе он умел разобраться. Упомянув в разговоре с Ланским, что Милютина одни обвиняют в ненависти к дворянству, а другие в любви к констиституции, император невольно улыбнулся. В самом деле, можно ли было представить себе такое сочетание чувств в дни редакционных комиссий?

Нам совершенно нет надобности выяснять, каким индивидуальным условиям Милютин был обязан своей ненавистью к дворянству и своим равнодушием к конституции. Весьма возможно, что служба в хозяйственном департаменте министерства внутренних дел, где перед ним в течение двадцати лет вереницею проходили всевозможные помещичьи безобразия, действительно, — как указывает один из его биографов, — помогла воспитаться первому чувству, или, по крайней мере, дала богатый материал для его субъективного оправдания. Но вторая черта Милютина: его крайний гувернемантализм, вера в самодержавную власть и неверие в общество, была слишком распространена в то время*) и слишком хорошо объясняется положением тогдашних передовых групп, поставленных между косностью большинства помещиков, с одной стороны, и опасностью дожить до пугачевщины — с другой. Мы видели, что и Кавелин и, в особенности, Самарин были в этом случае очень недалеки от Милютина, и что от скептицизма по адресу конституции не был свободен даже Герцен. Оттого и Самарин, и другие сторонники эмансипации того же типа, так легко и аклиматизировались в редакционных комиссиях, куда они были вызваны в качестве экспертов. Там не нашлось только места ни для Унковского, ни для Кошелева: отсутствие первого в подобном учреждении было достаточно понятно само по себе. Отсутствие второго пытались иногда объяснить тем, что он пользовался наверху не особенно блестящей моральной репутацией: был недостаточно святым человеком

*) См. выше I, „Новое общество".

для такого „святого“ дела. Но в комиссиях были отнюдь не одни святые люди: генерал-провиантмейстера Булгакова, занимавшего в комиссиях (по назначению от правительства) весьма почетное место,—одно время он даже председательствовал,—кажется, никто в святости не подозревал. А в числе членов-экспертов был полтавский помещик Позен — „личность в высшей степени подлая и гнусная“, по энергическому выражению первого историка крестьянской реформы *). На самом деле Позен был, главным образом, виноват в том, что чересчур энергично и последовательно отстаивал интересы помещиков. Но как бы то ни было, его репутация, заслуженная или нет, не помешала ему быть приглашенным в комиссии и даже пользоваться там в первое время большим влиянием на Ростовцева. Для остракизма Кошелева приходится, таким образом, искать других оснований: и едва ли не главное из них было в том, что рязанский комитет по части политики отнюдь не был на хорошем счету, требуя разделения властей с самого корня с такой неукоснительностью, что даже мелкие деревенские правонарушения готов был поручить особого рода присяжным; а к тому же еще лично Кошелев пользовался репутацией большой независимости. Нет сомнения, что именно последняя причина закрыла двери комиссии перед их инициатором Кавелиным: после истории с его „запиской“ он считался решительно неблагонадежным.

В этом устранении от комиссий людей, которые, несомненно, были бы полезны, мы вовсе не должны видеть, однако, сознательную политическую тенденцию. Мы были бы слишком хорошего мнения о „высших сферах“ 1859 года, если бы предположили у этих сфер хоть какую-нибудь принципиальную выдержанность. Мы видели, какие барьеры ставились перед Милютиным, который, однако же, имел все права на то, чтобы быть поставленным во главе подобного дела. Зато людей „своих“, к которым привыкли чуть не с детства, готовы были пустить туда без всяких условий, хотя бы с первого взгляда было ясно, что они будут не помогать, а вредить, что они явятся в комиссиях форменной делегацией от враждебного помещичьего лагеря. Таково было

*) „Материалы“. II, 22.

положение в комиссиях двух представителей самого аристократического круга: князя Паскевича, сына николаевского фельдмаршала, и графа Шувалова, петербургского губернского предводителя дворянства. Обоих в обществе считали сторонниками освобождения крестьян без земли, а между тем задачей комиссии было выработать проект освобождения, применительно к журналу 4 декабря, требовавшему насаждения в России мелкой земельной собственности. Что получилось от их участия в работах комиссий, не трудно себе представить: как только Ростовцев заикнулся о выкупе, он немедленно наткнулся на горячие возражения обоих своих аристократических сочленов. Шувалов и Паскевич в один голос доказывали, что выкуп земли, возможность которого они политично не оспаривали, есть частная сделка между помещиком и его бывшими крепостными, сделка совершенно добровольная, которая может состояться, а может и не состояться. Государственную меру, какой является отмена крепостного права, нельзя ставить в зависимость „от всяких полюбовных сделок" Введение обязательного выкупа есть „нарушение предоставляемой крестьянам свободы": „ибо неестественно заставлять свободного человека приобретать вопреки его воле поземельную собственность". На прения с этими радетелями крестьянской свободы комиссии должны были потратить целый ряд заседаний. Дело восходило на решение самого Александра II, который употребил на то, чтобы удержать в комиссиях Шувалова и Паскевича, не меньше усилий, чем для того, чтобы не пустить Милютина в товарищи министра. Комиссия должна была отводить душу в довольно желчных протоколах, где изъяснялось, что „еще и доныне некоторые лица продолжают поддерживать мнение по крестьянскому вопросу, прямо противоречащее высочайше указанным началам и клонящееся в той или иной форме к окончательному освобождению крестьян без земли и к более или менее постепенному образованию из них класса свободных, но бездомных, безземельных работников". Образование такого класса должно сопровождаться „ничем не сдержанной борьбой" „между двумя сословиями": „правительство, имея в виду и историю, и настоящее положение вещей в других государствах, без

сомнения, не может допустить подобных последствий". „Уклонение от указанного высочайшей волей пути" может поэтому „довести до результатов самых гибельных..."

Тенденции крупного землевладения, представленного в комиссиях Шуваловым и Паскевичем, вели, конечно, не к созданию „класса свободных безземельных работников": ему нужно было юридическое превращение оброка в ренту. Аргумент его противников бил дальше цели, но он остается, тем не менее, чрезвычайно выразительным. Так боялись образования в России пролетариата те самые редакционные комиссии, которые потом подвергались со стороны раздраженного дворянства обвинениям в коммунизме. Мы увидим впоследствии, что социальный консерватизм выражался у комиссии не только в этой экономической форме (в этой форме он не был чужд и тогдашним радикалам, напр., Чернышевслому), но и в других формах гораздо более „николаевских". Доводы Паскевича и Шувалова были ничем не хуже аргументации тех почтенных английских буржуа, которые восставали против фабричного законодательства на том основании, что оно стесняет „свободу труда". С этой точки зрения они могли не без основания гордиться своей „прогрессивностью" перед „отсталыми" николаевскими чиновниками и помещиками славянофилами, составлявшими большинство редакционных комиссий. Тем не менее большинство все же оставалось большинством,— и Паскевич с Шуваловым, несмотря на все усилия императора помирить их с их коллегами, вышли из состава комиссий *).

Этот инцидент, не имевший формальных последствий, если не считать таковыми протоколов, был, однако же, чрезвычайно характерен, как симптом. Милютин мог мечтать о внеклассовой государственной власти, бесстрастной и неумолимой, как судьба. Но реальные люди — всегда люди какого-нибудь определенного класса. Даже так мало понимавший в экономических и юридических вопросах Ростовцев стал сознавать под конец жизни, что он, в сущности, все время стоял со своими сотрудиками на классовой точке зрения: именно

*) Впоследствии, по настоянию императора, они вернулись, но деятельного участия в работах не принимали.

на точке зрения классового крестьянского интереса*). Но такая позиция была слишком искусственна для большинства членов комиссий. Они были все же дворяне: „Большинство принадлежало к числу помещиков, большей частью зажиточных и даже богатых“ **). Отрешиться вовсе и окончательно от помещичьей точки зрения они могли так же мало, как мало мог Александр II отрешиться от пристрастия к Шуваловым и Паскевичам. Это сказалось со всей силой на первом же самом элементарном вопросе — вопросе о крестьянском наделе.

Доклад „об основаниях и размерах надела“ был поручен хозяйственным отделениям комиссий ***) князю Вл. А. Черкасскому. Как и Самарин, Черкасский был одной из крупнейших литературных сил комиссий,— но его литературный талант был менее индивидуален и более гибок, чем самаринский. Оттого ему охотнее всего и поручали редакцию всякого рода документов общего характера, — он, например, составлял для Ростовцева его предсмертную записку о ходе крестьянского дела (представленную Александру II 6 февраля 1860 года). В докладе о наделе Черкасский оказался, по общему мнению, на высоте своей репутации: доклад отличался большой убедительностью. Его исходной точкой была та мысль, что „главная цель правительства состоит в создании обеспеченного сословия сельских обывателей“. Совершенно правильно Черкасский видел минимальное условие для достижения этой цели в том, чтобы оставить за освобождаемыми крестьянами весь тот надел, какими они пользовались при крепостном праве,— надел, как мы знаем, с начала столетия уже сильно уменьшившийся. Это решение, разумное само по себе, вполне отвечало и исторической традиции,

---

*) „Комиссии иногда наклоняли весы на сторону крестьян и делали это потому, что наклонять весы потом от пользы крестьян к пользе помещиков будет и много охотников и много силы, а наоборот—иначе“ (письмо Ростовцева Александру II от 23 декабря 1859 года).

**) „Материалы“, II, 22.

***) Комиссии, отчасти, согласно с первоначальным планом Кавелина, разделялись на три „отделения“: юридическое, административное и хозяйственное. Впоследствии к ним присоединилась еще финансовая комиссия, рассматривавшая специально вопрос о выкупе.

как она сложилась со времен Николая. При первом ограничении крепостного права в западных губерниях путем введения инвентарей было установлено, что „вся земля, находящаяся ныне в пользовании крестьян и подробно означенная в инвентаре, должна, как мирская, оставаться у них без всякого изменения“ *).

Основное положение Черкасского казалось, таким образом, вдвойне несокрушимым: за него были и логика, и история. Оно вызывало только одну поправку: так как добрая доля крестьян была еще в течение крепостного периода совсем или почти обезземелена, то, не изменяя основной цели „нового курса“, созданию мелкой земельной собственности, приходилось установить известный minimum надела, с обязательством для помещика прирезать крестьянам земли, если у них было меньше этого minimum'а. Но историческая традиция дворянской эры начала царствования Александра II вносила и еще одну поправку: при введении инвентарей в Могилевской и Витебской губерниях (в 1855 году) были установлены не только наименьшие, но и наибольшие размеры крестьянских участков. Другими словами, допускалась не только прирезка в пользу крестьян, но и отрезка крестьянской земли в пользу помещика. В общем собрании редакционных комиссий (заседания 18 и 20 июня) этот вопрос вызвал ожесточенные споры. Целый ряд членов-экспертов высказался против самой идеи существующего надела: многие находили вполне естественным, что у крестьян будет отрезаться земля для увеличения барской запашки, но никак не мирились с тем, что часть барской запашки может быть отдана крестьянам. Члены по назначению правительства, в том числе даже и Милютин, иногда „уклонялись от прямого ответа“— характерный указатель атмосферы, которая царствовала в собрании. Ростовцев колебался: сначала и он „пытался уклониться“, предложив отсрочить отрезку на 12 лет, до окончания переходного срочно-обязательного периода. „В то время оно и разрешится, это будет ход исторический... Тогда, может быть, представится совсем другое. Это, так сказать, осьмушка столетия“. Но по мере того, как разгорались

*) Высочайше утвержденные правила 29 декабря 1848 года (для Киевск. губ.), повеление 22 декабря 1852 г. (для литовских губерний).

прения, председатель начинал понимать жгучесть вопроса. „Отрезкой мы уничтожаем крестьянина, — говорил Ростовцев в конце второго заседания — а это бунт; все юридические теории прекрасны, но здесь дело идет о куске хлеба; мы отнимаем у крестьянина этот кусок из вежливости к помещику, для популярности у дворянства. Государь велел нам улучшить быт; какое же это улучшение?“ Самарин занял среднюю позицию: он стоял на том, что существующий надел — факт исторический, и что поэтому не следует допускать ни наибольшего, ни наименьшего размера. „И вообще никакой отрезки земли у крестьян“, — прибавлял он, однако, явно обнаруживая тем, что этому отступлению от истории он сочувствовал во всяком случае меньше, чем противоположному. Черкасский поставил точку над „i“, сказав после долгих споров: „Конечно, не следует допускать уменьшения у крестьян земли, и это согласуется вполне с моим личным убеждением, но что отрезка у них земли будет популярна у дворянства, в этом я не имею сомнения, а если отвергнуть ее, то произойдет общее неудовольствие. Нужна ли эта популярность — дело другое“. На этот вопрос ответило голосование, — именное, как все важные голосования редакционных комиссий: „Большинство или все почти были за отрезку“, — говорила протокольная запись, странным образом умалчивая именно здесь, кто же были те немногие, которые не искали „популярности у дворянства“. Таким образом, идея знаменитых „отрезков“ вовсе не была навязана редакционным комиссиям критикой депутатов I и II призывов, как иногда думают. Она возникла совершенно самопроизвольно в их среде, и представителям помещичьих интересов оставалось только толкать их по этой дороге все дальше и дальше, доводя в некоторых случаях отрезку до настоящей экспроприации крестьян в пользу помещиков.

Еще меньше твердости обнаружили комиссии в другом вопросе, тесно связанном с первым: в вопросе о способе, каким должен перейти к крестьянам этот урезанный надел, и о юридической форме этого перехода. Так как вся реформа носила принудительный характер, то было совершенно естественно и передачу крестьянам надела облечь в форму принудительного отчуждения у помещиков

крестьянской земли (которая, формально, принадлежала, конечно, им, как и сами крестьяне), или, как тогда говорили, в форму принудительного выкупа. Но этот единственно правильный логический вывод, сделанный еще Кавелиным в его записке*), был жупелом для большинства членов комиссий, чем и пользовались противники этого большинства: когда Шувалов хотел прижать к стене Милютина, Черкасского и других, он ставил им в упор вопрос: должен быть выкуп обязательным или нет? И Милютин с Черкасским смущались, „старались доказать, что между возражениями гр. Шувалова и тем, что было выражено в предложении, не было действительного различия" (!) и начинали говорить об уступках**). В конце концов комиссии одновременно заявили, и что они „почитают выкуп крестьянской земли главным исходом вопроса", и что они однако „не делают выкупа обязательным", т. е., что „главный исход" вопроса они оставляют в руках помещиков...***) Рано или поздно, это пришлось сказать всеми словами. В журнале общего присутствия 13 августа гр. Шувалов, вернувшийся к тому времени в комиссии, имел удовольствие прочесть: „...Если бы помещик предложил крестьянам выкупить весь утвержденный за ними надел и если бы по рассрочке уплаты этой суммы пришлось крестьянам вносить ежегодно... не более установленного с них оброка, в таком случае нет надобности ставить выкуп земли исключительно в зависимость от произвола крестьян". В этом случае правительство „по заявлению желания выкупа со стороны одного только помещика, выдавало ему выкупную сумму". А так как — мы знаем это из проектов губернских комитетов — выкуп считали для себя выгодным очень многие помещики, то дело и решалось, в конце концов, вполне согласно с интересами землевладельческого класса.

*) „...Владельцев следует вознаградить за выкупаемых у них крепостных самым простым и самым справедливым образом: оценить крепостных со следующею им землею, по существующим на месте ценам как можно добросовестнее, как можно ближе к истине и затем выдавать всю выкупную сумму сполна, при самом отчуждении крепостных из частного владения" (Соч., II, стр. 48).

**) Семенов, I, 156.

***) „Дополнительный журнал" 27 мая 1859 г. Там же, стр. 187.

Еще раз оказался консерватизм комиссий на вопрос о крестьянском „самоуправлении". „Одно из важнейших условий улучшения быта помещичьих крестьян и самого выхода их из крепостной зависимости, по мнению редакционных комиссий, заключается в замене прежней безотчетной полицейской власти и безотчетного суда помещика правильным „полицейским и судебно-полицейским устройством крестьян". Кроме непосредственного влияния на будущее благосостояние освобождаемых крестьян, вопрос о лучшем в этом отношении устройстве их имеет первостепенную важность и в видах сохранения общего порядка и спокойствия" *).

Уже это последнее „соображение" редакционнных комиссий вводит нас в круг весьма архаичных представлений о задачах „устройства" крестьян. Чем-то глубоко николаевским веет от этой сразу откуда-то выскакивающей заботы о „сохранении общего порядка и спокойствия". Вы чувствуете, что об этот краеугольный камень полицейского государства должны были разбиться все прекрасные намерения, выражавшиеся комиссиями по другим поводам и в других местах своих проектов: о предоставлении крестьянам „совершенно самостоятельного управления", о нежелательности какого бы-то ни было контроля над ними со стороны и т. д. Все это было мало-по-малу принесено в жертву молоху „порядка и спокойствия", и чем дальше комиссии шли по торной дороге бюрократически-сословного государства, тем ближе они оказывались к упраздняемому ими крепостному праву.

Некоторые губернские комитеты, —напр., тверской — высказывали пожелание, чтобы никакого особенного „крестьянского управления" не существовало, — кроме распоряжения сельской общины своими хозяйственными делами. По их мнению, должно было быть организовано местное управление, общее для всех сословий или, вернее, вовсе бессословное. Это было единственное решение вопроса, отвечавшее духу предпринимаемой реформы, так как и по рескриптам и по журналу 4 декабря, крестьяне рано или поздно должны были превратиться в свободных сельских обывателей, равноправных со всеми другими. Но на беду для той системы,

*) Скребицкий. — „Крестьянское дело", т. I, стр. 337.

которая на защиту себя выдвинула редакционные комиссии, крестьяне были не только этим: „Это сословие в критические минуты всегда служило правительствам самою надежною опорою для охранения общего порядка и спокойствия". А раз это так, то смешивать этих благонадежных людей в одну кучу с другими сословиями, благонадежность которых более или менее сомнительна, а в особенности с явно неблагонадежными в данную минуту помещиками, было очевидным неблагоразумием. И вот комиссии мало-по-малу приходят к убеждению, что бессословный строй в деревне, может быть и согласный с духом крестьянской реформы, несогласен с „духом наших законов"— а мы знаем, что комиссии должны были строго его блюсти и охранять от всяких покушений. „На основании действующих законов, — рассуждают комиссии,— все свободные сословия, несмотря на различие прав, предоставленных им в составе обществ, пользуются полною друг от друга независимостью. Все они, от высших до низших, непосредственно тянут (по выразительному юридическому термину нашего древнего законодательства) к живому средоточию государственного устройства, олицетворяющему собою единство Русской земли и единство правящей ею верховной власти".

Нетрудно себе представить, к чему должно было привести это старомосковское начало тягла, так глубоко раздробившее на сословия московское общество XVII века, в применении к освобождаемым крестьянам. Основной единицей крестьянского самоуправления, по проектам редакционных комиссий, являлось „мирское общество"—для великорусских губерний совпадавшее с поземельной общиной (последнее слово не нравилось Ростовцеву, так как напоминало ему „фаланстерию"). Это и был тот мир, с которым впредь должен был иметь дело помещик, „не касаясь личностей". Существует мнение, что сохранением мирского устройства крестьян мы обязаны славянофильским воззрениям руководящих членов редакционных комиссий. Самарин был одним из виднейших теоретиков слявянофильства, которого славянофилы-практики даже побаивались, считая его чересчур прямолинейным: „Пуще всего не давайте воли Самарину,— писал Кошелев — злейшему доктринеру, человеку,

который и самого Гизо за пояс заткнет". Черкасский был очень близок к славянофильским кругам: а Милютин, числившийся раньше западником, в комиссиях, по уверению И. С. Аксакова, подпал под теоретическое влияние Самарина и Черкасского. Возможно, что это и так, и тем не менее „мир", как он был поставлен в проектах редакционных комиссий, попал туда вовсе не ради соблюдения „народных начал", а в гораздо более скромной роли. Об этой роли прямо и просто выразился Ростовцев в одном из своих писем к Александру II: „Общинное устройство теперь, в настоящую минуту, для России необходимо,—читаем мы здесь,— народу нужна еще сильная власть, которая заменила бы власть помещика. Без мира помещик не собрал бы своих доходов ни оброком, ни трудом, а правительство своих податей и повинностей". Немудрено, что „мир" редакционных комиссий, как община времен Ивана Грозного, гораздо больше выражал идею „государева тягла", чем право крестьян на самоуправление. Сущность этого мира для Ростовцева составляла круговая порука, которую он в простоте души считал неотделимой от общинного землевладения. „Сознавая многие неудобства круговой поруки, — писал он*) Александру II в своей предсмертной записке,— которая ставит личность крестьян в слишком большую зависимость от мира, комиссии приняли ее, как неизбежное зло, так как, при существующем ныне общинном владении землею, она составляет главный способ обеспечения повинности; уничтожить же искусственно-общинное владение землей, с которым крестьяне так сроднились, было бы мерою искусственной". Вполне согласно с этим пониманием дела, административное отделение комиссий в своем докладе полагало, что „поземельной общине могут быть предоставлены лишь те хозяйственные меры, которые истекают из самого существа круговой поруки". Немудрено также, что „славянофильские" мероприятия редакционных комиссий прежде всего „привели в ужас" самих славянофилов — Константина Аксакова и Хомякова. Первый усмотрел в докладе административного отделения „ни более, ни менее, как совершенное нарушение всей

*) Или, вернее, по его указаниям кн. Черкасский. См. ниже.

сущности русского общинного начала, полнейшее истязание мира, уничтожение всей самобытной общественной свободы русского народа"... „Вы говорите, что на мирской сходке первое лицо — староста. Когда мир собран, то первое лицо здесь одно — мир, а другого нет и быть не может... Хорош мир, в котором есть начальник или, по крайней мере, первое лицо и распорядитель! Вы говорите: „первое место на сходах и охранение на них должного порядка принадлежит старосте". Итак, староста будет распоряжаться совещанием? Широкое поприще открывается старосте через охранение должного порядка!". А еще Аксаков не знал тогда следующего доклада того же административного отделения (под № 6) „о сельских должностных лицах". Там он прочел бы, что этот староста, поставленный в начальники над „миром", сам имеет над собой очень много начальства: пункт 17 ставил ему в обязанность „исполнение всех требований начальствующих лиц и властей". Общее собрание комиссий, подумав, прибавило: „всех законных требований". Неужели раньше предполагалось беспрекословное исполнение и незаконных?

Но власти „мирского старосты" было, очевидно, мало для охранения „общего порядка и спокойствия". Губернские комитеты большею частью не останавливались на мысли о создании особых полицейских и quasi-судебных органов для крестьянства. Но живой пример таких учреждений имелся в управлении государственными крестьянами. Там над сельским обществом стояла еще более обширная административная единица, волость, с волостным головой, волостной расправой и т. д. Сами редакционные комиссии хорошо видели, что „все управление для каждой волости составляется из многих категорий различных чиновников двух сословий, составляющих начальство крестьян государственных имуществ". Казалось бы, совершенно ясно, что волость есть не что иное, как орган административной опеки над крестьянством, несмотря на некоторые демократические аттрибуты, в виде выборов, волостного схода и т. п. Комиссии, однако, нашли, что „в основании этого устройства, очевидно, лежит также мысль самоуправления, которая принята и комиссиями, но строгое в то же время подчинение

его блюстительной власти администрации по необходимости должно было сделать это управление более сложным, нежели долговременная практика показала в том нужду“. Комиссии обещали из оснований, принятых при Николае министерством государственных имуществ, развить „действительное и полное самоуправление общественное“. Просматривая, однако, обязанности волостного старшины, как они перечислены в 19 пунктах в докладе административного отделения комиссии (рассматривавшемся 5 августа 1859 г.), мы не найдем, что же в этом магистрате „общественного“,— кроме того, что он, на подобие земских старост московской Руси, „ставился“ из своей среды населением. Порученные ему дела, начиная с „наблюдения за охранением порядка и общественного спокойствия“ и продолжая таковым же „наблюдением“ за исправной уплатой податей, за паспортами, за рекрутами, „принятие мер“ „к предупреждению“ и „для открытия и задержания“ и т. д., и т. д.— все это те государственно-полицейские функции, которые при крепостном праве выполнял „даровой полицеймейстер“-помещик. Теперь этот даровой (для государства) полицеймейстер был из крестьян,— и стереотипная фраза об „исполнении всех требований начальствующих мест и лиц“ имела по отношению к нему, конечно, более реальное значение, чем по отношению к дворянину-помещику. При полной эмансипации крестьянства от власти местных землевладельцев это был бы все же чувствительный удар для непосредственного влияния этих последних. Но редакционные комиссии, весьма красноречиво доказав в другом месте (по поводу предложения многих комитетов сделать помещика „начальником общества“), что сохранение административной помещичьей власти „будет повторением большей части явлений истекающего крепостного времени“, тем не менее даже теоретически не смогли возвыситься до представления о крестьянах, независимых от дворян. В качестве ближайшего опекуна над волостным старшиной их проект ставил мирового судью, по мысли Ростовцева, избиравшегося крестьянами из местных дворян-помещиков: „тогда в мировом судье сольются элементы обоих сословий“. Тщетно Милютин восставал против этой новой формы дворянской опеки над крестьянами.

Тщетно он, впадая в несколько неожиданный для него политический демократизм, доказывал, что „выбранные лица тогда только сильны, когда находятся в независимости от судебных и полицейских учреждений“, между тем, как сам же он в другом месте оспаривал зависимость волостного старшины от схода, чем и вызвал замечание Черкасского, что при самоуправлении иначе нельзя. Ростовцев твердо стоял на своем. „Извините,— говорил он,— это моя мысль, выраженная и в одном из журналов наших. Я буду проводить эту мысль учреждения мировых судей, чтобы мировой судья был охранителем крестьян. Эта обязанность прямо до него относится“. Милютину пришлось удовлетвориться формальной уступкой: вместо слов „мировые судьи“,— в журнале написали: „те лица или учреждения, кому будет указано положением“.

Но если большинство комиссий так легко мирилось с мыслью, что крестьянское „самоуправление“ непременно должно быть опекаемо какими-нибудь „лицами или учреждениями“, причем молчаливо принималось, что это будут лица или учреждения, поставленные местными помещиками, то еще более само собой разумелась для них независимость дворян от деревенской администрации. Особенно хорошо эта мысль была выражена в § 5 проекта, представленного административным отделением; в обязанности волостного старшины по этому пункту входило „предотвращение и пресечение разврата, как между крестьянами, так и отставными нижними чинами и вообще проживающими в волости лицами, за исключением лиц дворянского сословия и лиц проживающих у них“. В общем собрании статья эта вызвала возражения, но не потому, что члены комиссии были против привилегии дворян, а потому, что статья эта могла „дать повод старшинам и старостам вмешиваться в домашние отношения крестьян“. Статья была исключена, привилегия же дворян оговорена в более общей и потому еще более решительной форме: „Само собою разумеется,— было сказано,— что лица дворянского сословия и лица, находящиеся у последних в услужении и у них проживающие, совершенно изъемлются из ведомства волостного и мирского управления“.

Раз волостные учреждения до людей белой кости не касались, было естественно оставить за волостным судом и репрессии прежнего сословного типа. Жалованная грамота дворянству говорила: „Телесное наказание да не коснется до благородного“. Неблагородных же обывателей, хотя бы и „свободных“, оно весьма и весьма касалось. Мысль о ненормальности такого положения была не чужда некоторым губернским комитетам. Московский комитет, как большинство, так и меньшинство, в своем проекте вовсе отменял телесное наказание по приговорам сельских судов, причем меньшинство энергически заявляло, что этого рода наказание „может быть уничтожено во всех его видах, без всякого вреда для общества“. Владимирские проекты оставляли розги и плети в виде уголовного наказания за преступления, но точно так же отменяли их „в порядке полицейского суда“, т. е. для деревенской расправы. Тульский комитет освобождал от телесного наказания женщин, а самарский позволял от него откупиться. Редакционные комиссии „не позволяли“ себе „войти в рассмотрение возможности исключить из числа исправительных наказаний телесное наказание, ибо вопрос этот связан с принятою нашим законодательством общею системою исправительных и уголовных наказаний“, несмотря на то, что в прениях некоторые члены указывали на отсутствие розг в практике многих крепостных имений. Один из них подтверждал даже, что оставление в законе телесного наказания „может довести крестьян до отчаяния“. Тем не менее розги остались в числе наказаний, налагаемых волостными судами; от них изъяты были только женщины и крестьяне, „получившие значительную степень образования“. Что же касается всей остальной крестьянской массы, то комиссии утешили себя размышлением, что, конечно, телесные наказания будут заменены „другими, более правильными, взысканиями“, как скоро „с уничтожением крепостного права, обнаружатся ожидаемые от того благодетельные в нравственном и вещественном отношениях последствия“. Ждать, как мы знаем, пришлось долго.

Нигде, как в организации волости, не выразилась так отчетливо „николаевская“ традиция редакционных комиссий: здесь, как мы видели, даже формальным образцом были

учреждения, созданные в 30-х годах Киселевым для государственных крестьян. Чиновники конца 50-х годов решились отклониться от них влево весьма не на много *). Члены-эксперты комиссии были смелее. Если доминировавшие между ними славянофилы и могли быть отчасти повинны в той организации, которую комиссии дали мирскому управлению, то отношение самого видного из них, Самарина, к волости не оставляло ничего желать по своей определенности. „Вы навязываете народу такую насильственную правительственную форму в волостном управлении,—говорил он,—в которой крестьяне вовсе не поймут ни вашего учреждения, ни того, что вы от них требуете, и примут на себя предписанные вами обязанности, как тяжелую для них повинность. Они совсем не будут интересоваться этим управлением". Самарину горячо возражал один из главных работников „земского отдела" министерства внутренних дел — Соловьев (автор известных „записок" о крестьянском деле), а не поддержал „злейшего доктринера" никто, даже князь Черкасский **). Николаевская традиция победила. Крестьянской реформе не суждено было выйти из сословно-полицейских рамок и освобождаемые помещичьи крестьяне вовсе не стали вполне свободными и равноправными со всеми другими сельскими обывателями, как значилось на бумаге, а просто образовали новое административное „ведомство", по выражению одного из членов губернских комитетов, критиковавших труды редакционных комиссий.

Таковы были в общих чертах итоги занятий редакционных комиссий в первый период их деятельности в тот период, когда они еще были предоставлены самим себе

*) Главнейшее уклонение состояло в том, что волостной старшина редакционных комиссий был всегда выборный, а волостой голова государственных крестьян, однажды выбранный, мог затем быть утверждаем начальством без перевыборов.

**) Спор возобновился впоследствии с еще большей силой в так называемом втором периоде занятий редакционных комиссий. В шестьдесят восьмом заседании (16 дек. 1859 г.) Самарин говорил; „Из волостного старшины сделается уже только полицейский чиновник, который будет отвечать за все и ему не останется времени употребить себя на что-нибудь другое. Новые отношения вызовут новые стороны деятельности полиции, а такая деятельность может стать неудобоисполнимою для всякого, кто не чиновник полиции. Например, в тех случаях, где нужна

и не подвергались еще натиску губернских комитетов, в лице депутатов „первого" и „второго" „призывов". Мы видели, что удержать внеклассовую позицию, — на которой очень желал бы, может быть, оставаться Милютин, — оказалось невозможным даже теперь: члены комиссии показали, что они все же „помещики и даже очень богатые помещики", плоть от плоти и кость от кости русского дворянства. А между тем, близился момент, когда они должны были стать лицом к лицу с настоящими уполномоченными представителями своего сословия: в августе 1859 года стали „съезжаться" в Петербург депутаты губернских комитетов.

IV

Ликвидация крепостного права.

Уже при самом открытии редакционных комиссий высшие сферы не без тревоги смотрели в будущее. Александр II, принимая (6 марта 1859 года) членов комиссии, назвал порученное им дело „щекотливым", а самую работу комиссии „трудной" — и решил выразить только надежду, а не уверенность, в благополучном окончании всего предприятия. Председатель главного комитета, князь Орлов, был еще откровеннее: „Господа, — сказал он, — на вас лежит трудная обязанность распутать дело сложное и запутанное. Так уже сделалось, пойти назад невозможно..." По мере того, как приближалась решительная минута, колебания наверху усиливались. Полная беспринципность высших сфер, которые очень желали „не пущать", но не ясно представляли себе, кого и куда они должны не пустить, сказывалась все сильнее. Беспринципность вела к тому, что друзей не умели

вооруженная сила. Один из членов спросил: может ли полиция потребовать смены волостного старшины, если он плохо исполняет ее предписания?. „Это еще не страшно, что полиция могла бы сменять, — ответил Самарин, — страшнее то, чтобы старшины не стали служить с особенной ревностью полиции, чтобы они не попали в совершенное ее порабощение и не сделались бы чиновниками". Тут Черкасский совершенно разошелся уже со своим коллегой. „А по-моему — возразил он, — тут страшнее всего то, чтобы не поставить полицию в невозможность охранять законом установленный порядок и ограждать общество от беглых воров, бродяг и дезертиров и не устроить так, чтобы нельзя было даже их ловить..." (Семенов, назв. соч., II, стр. 344 — 345).

отличить от врагов и готовы были прислушиваться к таким голосам, которые звали совсем в сторону от нового курса. Какая-нибудь вздорная заграничная брошюра —вроде письма гр. Орлова-Давыдова Ростовцеву, — вызывала внимание самого Александра Николаевича, раз она шла от человека, принадлежащего к близкому и понятному для него кругу. Об этом письме император имел специальный разговор с Ростовцевым и, повидимому, остался не совсем доволен, что тот не знал (или прикинулся, что не знал) этого документа. О длинной возне с гр. Шуваловым и Паскевичем, единомышленниками графа Орлова, мы уже рассказывали. Но такие же единомышленники были еще ближе к Александру II: гр. В. Ф. Адлерберг, уже совсем свой человек в царской семье, „открыто говорил, что редакционные комиссии разорят дворянство, не удовлетворят крестьян и похоронят самодержавие“ *). Мало-по-малу у Милютина из вдохновляемого им Ланского стало складываться определенное опасение, что император может им изменить в самый критический миг, пожертвовать редакционными комиссиями дворянству, и они решились предпринять специальные меры воздействия на своего колеблющегося государя. Так возникла знаменитая в истории крестьянского дела записка Ланского: „Взгляд на положение крестьянского вопроса в настоящее время“, представленная Александру II в августе 1859 года, перед самым съездом депутатов первого приглашения. Записке этой долго придавалось значение первостепенного исторического источника: ее цитировали, как фактический отчет о положении дела в данное время. На самом деле это вполне публицистическое произведение, своего рода контр-памфлет, параллельный дворянской публицистике того времени, но написанный с противоположной точки зрения. Автор его (по всей вероятности, Милютин) очень хотел бы изобразить губернские комитеты скопищем тупых и невежественных реакционеров, стремившихся обмануть правительство, сохранив в несколько видоизмененном виде прежнее крепостное право. Мы уже знаем, что исторически эта оценка совершенно неверна (см. выше II: „Губернские комитеты“); но автор „записки“ и не имел в виду писать историю. Ему

*) „Материалы“, II, 117.

важно было доказать, что „комитетские положения не решают крестьянского вопроса, а знакомят только с тем, как смотрит на него большинство дворянства“: и что это „большинство почти везде не оправдало ожиданий правительства“. Зная, чем он может заинтересовать своего высокого читателя, он в конце еще раз проводит тот же мотив, но уже в гораздо более определенной форме, указывая на стремления „мнений, рассеянно выраженных в разных комитетах“, сомкнуться „в единомышленные“, „разноцветные“ „партии“, гибельные как для правительства, так и для народа, и намекая на желание этих партий добиваться „изменения в государственном устройстве“.

Цели своей он достиг вполне: „Нахожу взгляд этот совершенно правильным и согласным с моими собственными убеждениями“, — написал на этом документе Александр II. Насколько прочно было это согласие — вопрос другой. Не далее, как через три недели, Ланскому пришлось представлять новую записку, цитированную уже нами выше (см. III: „Редакционные комиссии“, и изображавшую злокозненность дворянства гораздо более яркими красками *). Тут понадобилось уже извлечь из пыли забвения и призрак крестьянского бунта, который, как мы знаем, больше всего действовал именно на Александра Николаевича. „Одно опасно, — говорит эта вторая записка, — если народ потеряет веру в слово государя. Крестьяне знают царскую волю об улучшении их участи, ждут исполнения с примерным терпением и покорностью. Но бог знает, что случится, если они увидят себя и по освобождении под властью дворянского самоуправления“. Прочитав эту вторую записку, Александр II, повидимому, еще больше проникся идеями своего министра внутренних дел. Выразив опять полное согласие с основными мыслями Ланского (или Милютина), он прибавил: „Всю мою надежду к довершению сего жизненного для России вопроса возлагаю на бога и на тех, которые, подобно вам, служат мне верою и правдою и в мыслях своих не разделяют отечества от своего государя“. Кажется, теперь можно было положиться, — но характер Александра II недаром сравнивали с женским.

*) Формальным поводом была записка члена-эксперта редакционных комиссий Апраксина, дошедшая до Ланского через императора.

Сопоставляя две записки, мы находим в них еще одну любопытную черту. Первая написана до приезда депутатов в Петербург, вторая — после их первой встречи с редакционными комиссиями (помечена 31 августа, а встреча произошла 25-го). Как отзывается о дворянском самоуправлении последняя, мы сейчас видели. В первой же мы читаем: „Дабы вознаградить дворян за потерю помещичьей власти, им следует предоставить первенство в местной хозяйственной администрации; а для того, чтобы даровать им возможность нравственного влияния на местных жителей, полезно было бы прямое их участие в выборах мировых судей и других, общих для обоих сословий, должностных лиц, в собраниях как дворянского, так и крестьянского сословий“. Во второй записке мы уже не встречаем ни одной светлой черты в изображении политических стремлений дворянства,— в первой сочувственно отмечаются экономически прогрессивные комитеты, например, тверской, несмотря на то, что они были наиболее левыми и в политической области. Первая записка еще оставляла кое-что в резерве и не утратила надежды столковаться хотя с частью дворян; вторая же свободна от всяких иллюзий на этот счет. Конфликт уже произошел, и обе стороны стояли на боевых позициях.

Что предстоит война — об этом можно было с уверенностью говорить задолго до первой встречи, и нужна была политическая наивность Ростовцева, чтобы тешить себя на этот счет какими-нибудь иллюзиями. Вполне правильно рассуждая, что врагу военных тайн не выдают, Милютин с самого начала стоял за то, чтобы подвергнуть полной огласке труды редакционных комиссий, напечатать их лишь после совещаний с депутатами от губернских комитетов. Стесняясь прямо высказать свою мысль, он то приводил отзывы каких-то членов комитетов, будто бы заверявших, что им совсем и не нужны пока „труды“ комиссий, то заявлял, что нельзя издавать первоначальные черновые наброски, потому что „в публику не являются непричесанными“,— но в конце концов должен был признаться, что боится „напугать“ помещиков. Его, повидимому, однако не поддержали, „и труды“ появились из печати до начала разговоров с депутатами первого призыва, но — случайно

или нет — все же так поздно, что депутаты имели полное основание жаловаться на отсутствие времени для ознакомления с этой трехтомной работой: депутаты, как мы знаем, съехались в августе, „первое издание материалов редакционных комиссий“ вышло в полном виде из печати 10 сентября. Между тем ответы и отзывы на проекты комиссий должны были быть даны в месячный срок: противник сразу ставился, таким образом, в очень тесные условия. В месяц времени каждый отдельный депутат, конечно, мог справиться со своей задачей: но столковаться в такой долгий срок по вопросам, отнявшим у комиссий почти полгода, — а члены комиссий, конечно, солидарнее были между собой, чем комитеты разных полос России, — это была задача почти невыполнимая. Но не дать депутатам столковаться, не дать врагу объединить и организовать свои силы — в этом-то и заключалась в т о р а я задача, поставленная себе министерством внутренних дел. Депутатам при первом приглашении их в комиссии (25 августа) была прочитана „инструкция“, вполне гармонировавшая по духу с запиской Ланского и утвержденная императором под впечатлением этой записки. В „инструкции“ подчеркивалось, что депутаты должны дать „м е с т н ы е сведения“, „м е с т н ы е данные и соображения, какие еще окажутся необходимыми при дальнейшем ходе работ“. „Так как сущность работы вызванных членов заключается, по высочайшему указанию, собственно в применении общих правил по особенностям к а ж д о й губернии, то каждый член представляет особый, по своей губернии, письменный ответ на каждый вопрос отдельно, или члены одной губернии дают ответы за общим подписанием“.

Как впоследствии, в 80-х годах, в дни реакции Александра III, „бюрократия“ требовала от студентов, чтобы они считали себя „отдельными слушателями“ университета, а отнюдь не членами какого-нибудь целого, — так и в дни „великих реформ“ она требовала от каждого дворянского депутата, чтобы он выступал, как отдельное лицо, как представитель отдельной местности, а отнюдь не как представитель отдельного класса, или, боже сохрани, как член какой-нибудь „партии“. Но мало было написать такое требование на бумаге, нужно было принять фактические

меры, чтобы помешать депутатам действовать солидарно. Как впоследствии строжайше воспрещались сходки студентов, так в 1859 г. решено было отнюдь не допускать общих совещаний депутатов первого призыва, ни вместе с членами редакционных комиссий, ни отдельно. По этому поводу происходило особое секретное совещание Милютина и наиболее солидарных с ним членов комиссий. Ростовцев не нашел удобным на этом совещании присутствовать. Предложения Милютина носили столь запретительный характер, что вызвали горячий отпор даже со стороны членов этой интимной коллегии. Как ни презирал дворянство Самарин, он все же не мог согласиться, чтобы сословие, к которому принадлежал он сам, как сословие, было лишено всякого голоса при решении крестьянского дела. Но „большинство участвовавших в происходившем совещании приняло сторону Милютина". И депутаты собрались все вместе и сообща с членами комиссии только для того, чтобы выслушать цитированную нами выше инструкцию. Когда она со всеми приложениями была прочитана, „водворилось глубокое молчание". Впечатление было настолько определенное и сильное, что Ростовцев заметно смутился; чтобы несколько рассеять смущение, он занялся формальностями, стал лично раздавать пакеты с печатной инструкцией, но настроение не проходило. Тогда, окончательно растерявшись, он пробормотал несколько слов „так тихо, что нельзя было расслышать", и ушел из залы. Вскоре после его ухода депутаты „в непрерывной линии, один за другим" также направились к выходу *).

Настроение ушедших один из них по свежим воспоминаниям изображал такими чертами: „Депутаты были в крайнем недоумении. Они спрашивали себя и друг друга: кем составлена эта инструкция? Как могла она попасть в государственную канцелярию? Кем она была рассмотрена и поднесена на высочайшее утверждение? — Государь изволил говорить о депутатах, имеющих прибыть в С.-Петербург для присутствия и общего обсуждения при рассмотрении положений в главном комитете. Что же значит перемена,

*) Все подробности этого дня и предшествовавшего секретного совещания см. Семенов, назв. соч. т. I, стр. 103 и след.

в силу которой члены от комитетов обязаны только представить в редакционные комиссии местные сведения и объяснения по вопросам, которые возникли впоследствии при разработке крестьянского дела?*) Что значит то, что, по получении ответов на упомянутые вопросы, предъявляются членам труды комиссий с предложением новых вопросов? Что значит, что члены обязаны представить, каждый по своей губернии, или члены одной губернии за общим подписом, свои письменные отзывы? С какой целью назначен для занятий депутатов срок, по краткости своей невозможный? Почему не допущены официальные собрания депутатов? Наконец, что значит явное устранение прежнего их названия: депутаты, и замена его другим: члены, избранные губернскими комитетами?**).

В последнем вопросе было не без наивничания: уже самый состав „депутатов первого призыва" ясно показывал, что правительство хотело на них смотреть не как на представителей дворянского сословия, а как на экспертов особого рода. Во-первых, были приглашены представители не всех комитетов: комитеты были разделены на две очереди, и в первую вошли лишь двадцать один из них (а всех было сорок шесть). Во-вторых, были приглашены представители не только большинства комитетов, но и меньшинства, притом в равном количестве: совершенно своеобразный способ „пропорционального представительства", кажется, нигде более в таком виде не применявшийся. Совещательный характер русского государственного совета ничем так не подчеркивался, как тем, что императору представлялись одинаково, как мнение большинства, так

*) Эти вопросы, которые ждавшим всероссийского дворянского собрания для коренного решения крестьянского дела действительно могли показаться насмешкой, были таковы: 1) о мерах к охранению владельческих лесов; 2) о порядке заключения условий по найму вольных рабочих; 3) о межевых средствах; 4) о порядке обращения промышленных сел в посады и местечки; 5) о сельских хлебных магазинах; 6) о взаимном страховании и 7) о предоставлении права приобретать населенные имения лицам, не принадлежащим к потомственному дворянству.

**) Из брошюры „Депутаты и редакционные комиссии по крестьянскому делу" (Лейпциг, 1860 год), приписывавшейся одними Кошелеву, другими Позену. Ср. „Материалы" II, стр. 122—123.

и мнение меньшинства, и он мог выбрать любое. Состав делегации от губернских комитетов не мог означать ничего другого. И вообще мы не должны, конечно, рассматривать прием, встретивший депутатов в Петербурге, как нечто, неожиданно свалившееся им на голову, хотя Кошелев, в цитированном нами выше отрывке, может быть, и желал бы внушить эту мысль своему читателю. Уже проект адреса, ходивший по рукам задолго до съезда депутатов первого приглашения (см. выше III: „Редакционные комиссии"), ясно доказывал, что дворянство давно знало о готовившемся ему сюрпризе. И то, как быстро нашлись депутаты тотчас после того, как ожидаемое стало фактом, доказывает не менее ясно, что и они, в частности, находились в состоянии полной боевой готовности. 25-го они услыхали знаменитую „инструкцию", а 26-го у них уже готов был проект адреса на имя императора, представлявший собою первую, довольно еще пока скромную, попытку вынудить у правительтельства исполнения его первоначальных обещаний. „Первенцы земли русской",— так именовали себя дворяне — еще твердо стояли здесь на позиции, занятой летним „проектом" адреса: государь добр, милостив, намерения его самые лучшие, чувства его самые благородные, но все это „искажено" и „растравлено" „лживыми устами" бюрократии. „Государь! — верноподданно вопияли дворяне, — воззри, что сделали с приказанием, о коем торжественно соизволил ты объявить дворянству и которое объявлено во всенародное сведение". А чтобы помочь памяти своего государя, депутаты почтительно воспроизводили подлинное царское обещание, высказанное некогда перед тверским дворянством: вызвать по два представителя (настоящих представителя!) от дворянства „для заседания в главном комитете и общего рассмотрения проектов положений по вопросу об устройстве быта крестьян".

Александр Николаевич, повидимому, основательно успел позабыть это свое обещание, или эту свою обмолвку. По крайней мере, сейчас он весьма энергично от нее отрекся, написав на полях адреса против этой фразы: „Никогда!" Но уже тот факт, что адрес был на другой же день в руках императора, а на третий депутаты имели уже

и частный ответ на него через Ростовцева (который посоветовал и самый адрес оставить на правах частной записки, не пытаясь подносить его официально) — уже одно это достаточно обнаружило, насколько правы были Ланской с Милютиным в своих мрачных предвидениях. Нужен был ряд новых бестактностей со стороны дворян, чтобы сделать мягкого Александра Николаевича на короткий миг снова твердым. Вторая записка Ланского чуть-чуть подогрела „новый курс“, но этого хватило лишь для того, чтобы не разрешить официальных собраний депутатов — помешать образоваться в Петербурге дворянскому собранию для решения крестьянского дела. Это уже слишком походило бы на ту дворянскую конституцию, которой пугал в своей второй записке Ланской. Но общие собрания депутатов, неофициальные, получили даже косвенное одобрение, и из всей инструкции характерным образом было повторено то место, которое обещало, что все мнения депутатов будут непременно приняты в расчет при окончательном решении вопроса в главном комитете. А затем Александр Николаевич почувствовал необходимость уехать в продолжительную поездку по России: 12 сентября его уже не было в Петербурге. Депутаты же с обновленною бодростью начали натиск на ненавистную им „бюрократию“ в лице редакционных комиссий.

Вопреки тому, чего можно было бы ожидать, если бы принять на веру характеристику известной нам Милютинской записки, споры депутатов первого призыва с членами редакционных комиссий не носили принципиального характера. Основная точка зрения у тех и других была одна и та же — исходным пунктом для обеих сторон являлись классовые помещичьи интересы. Правда, Ростовцев — и уже, конечно, Милютин — не прочь были иногда, преимущественно в чисто экономических вопросах, становиться и на крестьянскую точку зрения, как мы уже это видели. У Ростовцева мелькала даже одно время неоформившаяся и не имевшая практических последствий мысль — пригласить в комиссии в качестве экспертов наряду с помещиками и *старост*. Но цену этого крестьянофильства хорошо определил сам же Ростовцев, писавший как раз около этого времени императору:

„...Проект положения должен быть составлен комиссиями так, чтобы возможные уступки оставались в запасе, дабы уступки могли быть сделаны“. Помириться со своими провинциальными собратьями насчет мужицких интересов даже наиболее крестьянолюбивые члены комиссий, мы видим, были всегда готовы — сознательно готовы. С другой стороны, в лице депутатов первого призыва комиссии имели перед собою отнюдь не закоренелых крепостников. Говоря словами кошелевской брошюры, „все депутаты без исключения, были за уничтожение крепостного состояния.... все они желали развязки скорейшей и окончательной...“ В чисто юридическом вопросе уничтожения крепостного права и вообще замены сословно-полицейского строя буржуазным, депутаты были даже, можно сказать, левее комиссий: проекты крестьянского „самоуправления“, выработанные Ростовцевым и его сотрудниками по николаевским образцам, встретили со стороны депутатов ожесточенную критику, часто остроумную и убедительную. С другой стороны, и сам Ростовцев не решался отрицать, ни раньше (вспомним спор его с Милютиным), ни после, что „хозяйственно-распорядительное управление уездами (кроме собственно полиции), действительно, было бы полезно основать на выборном начале и подчинить влиянию сословному“ *), т. е. отдать в руки поместному дворянству. В этом пункте Милютин всегда был одинок—да и он, как мы видели, минутами колебался. Здесь спор мог быть только пикировкой двух близких друг к другу групп, которым именно в силу их близости, разногласия и кажутся огромными: причем более либеральная позиция, несомненно, доставалась на долю дворянства, а не „бюрократии“. Несколько иначе дело обстояло с экономической стороной: тут была не пикировка, а торг, — торг из-за тех именно „уступок“, о которых конфиденциально говорил Ростовцев, и совершенно гласно — кн. Черкасский (в речи на одном обеде). Но для того, чтобы до чего-нибудь доторговаться, нужно было говорить на одном языке. Обе спорящие стороны и здесь опять-таки были достаточно солидарны. Комиссии стояли на выкупной точке зрения — с самого начала

*) Письмо к Александру II от 23 октября 1959 года.

с поправкою в пользу дворянства: выкуп обязательный для крестьян, но не для помещиков. Большинство депутатов первого призыва стояло за выкуп, обязательный для обеих сторон. И тут, стало быть, в принципиальном вопросе „реакционеры“ были левее „либералов“. Декорации менялись, как только переходили к конкретным подробностям дела — по вопросу о том, что и за какую цену выкупать. Несколько примеров из протоколов комиссий *) покажут нам, о чем и как велись здесь прения. Представитель нижегородского комитета оспаривал maximum надела, установленный комиссиями для нижегородского уезда в $4^1/_2$ десятины, доказывая, что всей-то земли во владельческих имениях нижегородского уезда приходится по пяти десятин на душу. Цифра эта, кстати сказать, была недалека от истины. Вместо этого нижегородский губернский комитет предлагал „нормальный“ надел в две десятины на душу, мотивируя это, между прочим, тем, что „предоставление крестьянам в постоянное пользование более того количества земли, сколько действительно необходимо для обеспечения их быта, есть закрепление в мертвом общинном владении обширных пространств помещичьих земель в ущерб полной и самостоятельной личной собственности“ (!). Члены комиссий не возражали против таких тирад в манчестерском духе, а просто отстаивали — и в данном случае отстояли — свои цифры. Они указывали на то, что между maximum'ом и средним количеством земли на душу никакой связи нет, „так как никакой прирезки земли, кроме как до низшего размера надела, составляющего от одной до двух дес. на душу, не полагается, и вообще наделы остаются без изменений“ а что, впрочем, хозяйственное отделение „вполне допускает исправление высших цифр надела, по представленным г.г. депутатами доказательствам, что эти цифры слишком высоки“. В других случаях, как мы увидим дальше, такие „исправления“ и были сделаны. С депутатами от меньшинства того же нижегородского комитета шел другой спор. Это меньшинство установило „нормальный“ надел в $1^1/_4$ де-

*) Протоколы эти — неофициальные, но довольно точные — опубликованы, как известно, Н. П. Семеновым и составляют главную часть его труда: „Освобождение крестьян в царствование Александра II“.

сятины на душу, оценив десятину в 64 рубля, так что весь надел обошелся бы крестьянину в 80 рублей. Комиссии, отстаивая существующий надел, первую десятину с усадьбой ценили даже дороже, чем их противники, — в 65 рублей, но зато вторую — лишь от 25 руб. до 40 руб., а третью от 12 руб. до 25 руб.*). Десятина с четвертью при этом расчете не могла бы стоить дороже 75 рублей: к этим 5 рублям и сводилась вся „экспроприация" помещика по проекту зловредной „бюрократии". Правда, иногда цифры комиссии и комитетов отстояли друг от друга гораздо дальше: так, харьковский комитет, отводивший крестьянам надел в $1^{1}/_{2}$ (и в многоземельных уездах $1^{3}/_{4}$ десятины) на душу, желал получить за него 138 рублей, т. е. по 90 рублей за десятину, тогда как десятина продавалась тогда в харьковской губернии по 40 рублей.

Ополчаться против подобных расценок заставляли комиссии не одни только симпатии к крестьянам, а еще в гораздо большей степени тенденция, слишком хорошо знакомая русской „государственности" и опиравшаяся на не менее реальные основания, чем классовый интерес помещиков: казенный интерес. Если опасение, что „государевы дани и оброки не сойдутся сполна" побудило комиссии стянуть славянофильский „мир" железным обручом круговой поруки, и даже сделать эту последнюю краеугольным камнем „самоуправления" будущих „свободных сельских обывателей", то это же описание должно было всячески предостерегать от перегрузки крестьян будущими выкупными платежами. Ведь собирать их пришлось бы казне, и она отнюдь не была бы в выигрыше, если бы, заплатив помещику 90 рублей, она сама смогла бы выбрать с крестьян только 40—50. Здесь комиссии в сущности только глубже обосновывали ту же точку зрения дворянского интереса. Если государству было суждено и в будущем оставаться прежде всего организацией классового господства крупных землевладельцев, — а ради этого и была предпринята вся реформа, — то последним *в целом* было совсем невыгодно хищничество харьковских или нижегородских помещиков.

---

*) Так называемая система *градации*: см. о ней ниже, в характеристике выкупа.

Самое главное возражение, делавшееся депутатами редакционным комиссиям, было основано на — бессознательном или намеренном — недоразумении. Не решаясь говорить об обязательном выкупе, комиссии производили все свои расчеты применительно к той юридической фикции, которая осталась им в наследство еще от рескриптов: они исходили из представления, что наделы останутся в вечном пользовании крестьян за неизмененные повинности. Так как помещик всегда мог перевести крестьян на выкуп и крестьяне не могли от этого отказаться, то эта юридическая фикция на практике нисколько не стесняла землевладельцев. Тем не менее последние основательно использовали ее, крича о нарушении священного права частной собственности: так как „вечное пользование“ ничем не отличается от „вечного владения“, а то, чем владеют крестьяне, не есть уже собственность помещика, то тут-де очевидная „экспроприация“,—и доказывая, что „неизменные повинности“ навсегда отрезывают дворянству возможность воспользоваться плодами тех экономических улучшений, которые принесет с собой свободный труд. Все это, нужно сознаться, была одна декламация. Но Ростовцев был прав, когда он писал Александру II: „Какой бы проект положения редакционные комиссии ни написали, хотя такой, по которому помещики даже ничего не теряли бы, все-таки многие депутаты, и многие дворяне потребовали бы уступок“. Бельмом на глазу „первенцев земли русской“ было самое существование комиссий. Что из того, что это покушение на права и интересы дворянства на три четверти осталось покушением с негодными средствами! Надо было побороть самую идею решать дворянские дела без ведома и согласия дворянства. Только этим чисто политическим мотивом и можно объяснить последний удар, нанесенный депутатами первого призыва ненавистной им „бюрократии“,— удар, рикошетом больно ударивший самих депутатов и представляемое ими сословие. Только этим политическим характером натиска можно объяснить и его дружность. Экономические интересы помещиков разных полос России далеко не были тождественны,—это нашло себе выражение в комитетских проектах, это же отразилось и на воззрениях депутатов. „Они расходились на привер-

женцев обязательного выкупа, которые составляли огромное большинство, и на защитников или постоянного пользования с переоценкой, или освобождения крестьян с правом свободных переходов *). Число членов двух последних категорий было незначительно. Далее депутаты делились на сторонников нормальных и существующих наделов,— за первые стояло большинство". Изображая так дело, кошелевская записка старается уверить читателя, что все эти разногласия было бы легко уладить, „если бы только были допущены официальные совещания"; но мы вправе этому не поверить. В официальном совещании большинство могло бы подавить меньшинство, но это вызвало бы только новые и более острые трения в среде самих депутатов. Зато их политически сословные интересы, действительно, были одинаковы, и притом постепенно оказывалось, что эти интересы общи с ними даже и многим членам той правящей группы, которая издали принимала их за своих врагов.

Социальный смысл конфликта, представляющегося нам с внешней стороны, как столкновением „правительства" с „помещиками", заключался, в сущности, в относительной противоположности интересов самого крупного землевладения, представители которого непосредственно окружали императора, с землевладением средне-крупным и просто средним, представленным в губернских комитетах. Основной вопрос, расколовший последние по нескольким географическим линиям, вопрос о судьбе барщины, не существовал для наиболее крупного землевладения, так как большие вотчины почти сплошь были на оброке: здесь было крепостное право, но не было крепостного хозяйства. Уже в начале века крупный вотчинник чувствовал себя гораздо больше получателем ренты, чем владельцем душ. Сохранение ренты, связанное с охранением права на землю, составляло основную тенденцию этой группы: мы это имели уже случай наблюдать, анализируя позицию Шувалова и Паскевича в редакционных комиссиях. Но экономическое противоречие двух групп было именно относительным и очень относительным. Оно было бы непримиримым лишь в том случае, если бы большинство комитетов стояло на точке зрения Самарина либо Унковского: при

*) Т. е., попросту, безземельного освобождения.

всей противоположности этих двух точек зрения (см. II „Губернские комитеты“), они оба были несовместимы одинаково с интересами людей, стремившихся к увековечению оброков в образе ренты. Большинство комитетов тяготело к обезземелению крестьян, полному или частичному, причем, при ближайшем рассмотрении, последнее оказывалось даже выгоднее для помещика, чем полное. Жгучий вопрос о выкупе был улажен уже редакционными комиссиями, как скоро они признали выкуп обязательным для крестьян, но не для помещиков. Экономический конфликт был почти уже улажен, когда стороны встретились; оставалось политическое недоразумение. Крупное землевладение держалось за власть не меньше, чем за землю, — а провинциальные помещики, казалось из Петербурга, покушались на эту власть. Но тут было именно недоразумение: и достаточно было спорящим сторонам увидать друг друга, чтобы оно рассеялось.

С опасением „мятежных замыслов“ дворянства случалось то же, что и с пугалом крестьянского мятежа в свое время: в непосредственной близи призрак оказывался совсем не страшным. Александр II и тут оставался наибольшим консерватором: он дольше всех окружающих верил и в тот, и в другой призрак. Но как в свое время министерство внутренних дел сравнительно легко и скоро эмансипировалось от страха перед пугачевщиной, так теперь непосредственно окружавшая императора аристократическая камарилья *) очень скоро убедилась, что в лице дворянских депутатов перед нею вовсе не скопище красных демагогов, а весьма приличные люди одного с нею происхождения и воспитания. Традиционная связь — своего рода „голос крови“ — тотчас же сказалась: перед чиновниками типа Милютина все дворяне должны были чувствовать себя одинаково. Скоро в Петербурге насчитывали целый ряд крупнейших и влиятельнейших людей, стоявших в конфликте на стороне не комиссии, а депутатов. Сюда причисляли рядом с М. Н. Муравьевым (тогда министром государственных имуществ), гр. Адлербергом, Чевкиным (министром путей сообщения), гр. Паниным (министром юстиции), кн. В. А. Долго-

*) Так тогда она и называлась: см. отрывки из дневника Кавелина (соч., т. II, стр. 159).

руковым (шефом жандармов), кн. Меншиковым, кн. П. Гагариным и др. — и самого председателя главного комитета кн. Орлова. Последний „громко объявлял, что, если печатание трудов комиссии не будет запрещено, и у Ростовцева не будет отнят прямой доступ к государю по крестьянскому делу, то он выйдет в отставку“ *). Тот же автор прямо указывает на всю эту группу лиц, как на непосредственных подстрекателей депутатов к „решительной демонстрации“.

„Демонстрация“ заключалась, как известно, в подаче коллективных адресов Александру II, который во второй половине октября вернулся из путешествия. Всех адресов было три. Собравший наибольшее число подписей (18) был составлен очень осторожно. В первоначальной редакции, принадлежавшей Кошелеву, не было резкостей даже по отношению к главному врагу — редакционным комиссиям: говорилось только, что „разногласие в мнениях между означенными комиссиями и нами (депутатами) значительно, даже существенно“. Этим мотивировалась основная просьба подписавших адрес: „дозволить нам рассмотреть окончательные труды редакционных комиссий до поступления их на обсуждение главного комитета“. Участие в заседаниях этого последнего также было формулировано очень скромно: депутаты просили „даровать“ им „возможность представить сему комитету изустные объяснения в подтверждение изложенных нами мнений“. Дворянство, уверенное теперь в сочувствии той группы своих сановных односословников, которая преобладала в главном комитете, довольствовалось, таким образом, с самого начала лишь совещательным голосом, успокаивая этим ревнивую подозрительность Александра II. Кошелев правильно оценивал, что отрицательная гарантия — отстранение Милютина и его кружка — важнее всякой положительной, создавая для дворянских депутатов монополию фактической осведомленности, — как мы уже давно знаем, совершенно отсутствовавшей у „высших сфер“. Однако же, в конце концов, и это требование показалось представителям дворянства слишком смелым — и в окончательной редакции адрес восемнадцати, отведя душу в резкой характеристике ненавистных комиссий (предположения их „в настоящем

*) „Материалы“, II, 164.

их виде не соответствуют общим потребностям и не приводят к исполнению тех основных начал, которые с благоговейною готовностью дворянство приняло в руководство по крестьянскому делу"), просил лишь о том, „чтоб дозволено было нам представить наши соображения на окончательные труды редакционных комиссий до поступления их в главный комитет по крестьянскому делу". Но это уже было дозволено „частным образом",— депутаты, в сущности, только выражали желание, чтобы их „келейные" совещания, разрешенные уже императором, получили официальную высочайшую санкцию.

Под этим адресом подписалось большинство депутатов без различия их экономических тенденций: подпись ярого сторонника обязательного выкупа, Кошелева, стоит здесь рядом з подписью не менее яро отстаивавшего безземельное освобождение — гр. Шувалова. Выделилась только группа, политически стоявшая значительно левее этого большинства, и составившаяся из пяти человек: тверского депутата Унковского, харьковских — Хрущова и Шретера и ярославских — Дубровина и Васильева. Экономически это были два полюса: тверичи стояли за существующий надел, харьковцы были из числа самых жадных до земли помещиков, отводивших своим бывшим крепостным до минимума сокращенные „нормальные" наделы (см. выше). Но те и другие сошлись на том, что можно и должно говорить гораздо более смелым языком, чем решалось раболепное большинство. Во вступлении к этому „адресу пяти" делается явная попытка утилизировать на пользу дворянства ту знакомую нам у Александра II боязнь бунта, которой, с своей точки зрения, пользовался около этого же времени и министр внутренних дел: эта черта психологии императора была уже, очевидно достаточно популярна. „Нашему отечеству,—говорит „адрес пяти",— „предстоят два пути развития: один мирный и правомерный; другой путь насилий, борьбы и печальных последствий". На последний путь толкают Россию редакционные комиссии: „из внимательного изучения заключений комиссий" авторы адреса убедились, „что увеличением надела крестьян землею и крайним понижением повинностей в большей части губерний помещики будут разорены, а быт крестьян вообще не будет

улучшен по той причине, что хотя крестьянам и предоставляется самоуправление, но оно будет подавлено и уничтожено влиянием чиновников". Чтобы повернуть Россию на „путь мирного развития" необходимо парализовать это вредное влияние: с этою целью Унковский и его товарищи предлагают те реформы, с которыми мы уже встречались, изучая политико-юридические disiderata губернских комитетов (см. выше III „Редакционные комиссии"): „хозяйственно-распорядительное управление, общее для всех сословий, основанное на выборном начале", „независимую судебную власть, т. е. суд присяжных, и гражданские судебные учреждения, независимые от административной власти, с введением гласного и словесного судопроизводства и с подчинением должностных лиц непосредственной ответственности перед судом", наконец, „печатную гласность", с целью „доводить до сведения верховной власти недостатки и злоупотребления местного управления": словом, правовой порядок, прикрытый сверху горностаевой мантией самодержавия — утопия, как мы знаем, всегда грезившаяся Унковскому, и, во всяком случае, совершенно безобидная для верховной власти. Гораздо реалистичнее был первый пункт требований: „даровать крестьянам полную свободу с наделением их землею в собственность, посредством немедленного выкупа, по цене и на условиях, не разорительных для помещиков": но под ним мог подписаться не один тверской либерал, а громадное большинство депутатов первого призыва. Ничего, оправдывавшего „конституционные" страхи, внушавшиеся Ланским и Милютиным Александру Николаевичу, и в этом адресе не было: но нельзя не заметить, что он своим тоном и стилем, а отчасти и конкретным содержанием, весьма способен был оживить воспоминание о тех „дерзостях" губернских комитетов, которые и дали повод к учреждению редакционных комиссий. Этой непредвиденной автором цели адрес и достиг: Александр охарактеризовал его, как „ни с чем несообразный и дерзкий до крайности".

Окончательно испортили дело два „партизанских выступления" отдельных дворян, один из которых не удовлетворился ни одним из составленных его коллегами адресов и сочинил свой собственный, а другой и вовсе не принад-

лежал к числу депутатов. Первый был симбирский депутат Шидловский, допустивший в своем высокопарном „письме“ фразу, как-будто нарочно написанную по заказу министерства внутренних дел: „Удостой призвать, государь, к подножию престола твоего нарочито избранных уполномоченных от дворянства и кончи под личным твоим, государь, председательством дело, которое составит славу царствования твоего“. По всей вероятности, бедный симбирский помещик думал сказать комплимент самодержавному императору, отведя ему роль председателя дворянского собрания, но не трудно себе представить, как должна была подействовать подобная фразеология на Александра II. Письмо было передано Ланскому в качестве документа, вполне оправдывающего содержание его „записок“, с выразительной высочайшей отметкой: „Вот какие мысли бродят в головах этих господ“.

Документ, вышедший из-под пера камергера Михаила Безобразова, племянника кн. Орлова,— значит, лица, непосредственно связанного с ближайшим кругом императора,— удостоился не одной, а целого ряда отметок. Уже самый тон этих последних: „вздор“, „непомерная наглость“, „хорош софизм“, и т. п.— ясно свидетельствует о крайнем раздражении читавщего. И действительно, если мы вспомним, что читателем был сын Николая Павловича и верный хранитель его политических традиций, мы должны будем согласиться, что камергер и племянник князя Орлова не мог сделать большей бестактности. „Записка“ Безобразова состояла из двух частей — или, вернее, в ней проводились две основные мысли, местами перепутывавшиеся. Во-первых, это был донос на министерство внутренних дел и на редакционные комиссии, на всю „бюрократию“ сразу. „Бюрократия“ обвинялась ни более, ни менее, как „в сочувствии и сообщничестве“ с заграничными „памфлетистами“, т. е. с Герценом и его кружком. На это Александр Николаевич мог реагировать только восклицательными знаками: слов он не нашел. Год тому назад он еще, пожалуй, поверил бы чему-нибудь подобному относительно Милютина: но Ланской и Ростовцев — корреспонденты Герцена,— это не было даже смешно. Курьезнее же всего, что совершенно рядом с этим до-

потопным доносительством, Безобразов находил уместным говорить такие вещи, как то, что наше управление „основано на произволе“, и что „собрание выборных есть природный элемент самодержавия“: в этом и заключалась вторая мысль, которую он посильно старался развить в своей записке. Цели он этим достиг для себя совершенно неожиданной. „Он меня вполне убедил в желании подобных ему учредить у нас олигархическое управление“,—гласила последняя, заключительная, отметка императора.

Крамольность дворянства была теперь вне сомнений — и оно со связанными руками было выдано головою своему заклятому врагу—министерству внутренних дел. 4 ноября 1859 года состоялся высочайший приказ об увольнении от службы без прошения камергера Безобразова. А на другой день, 5 ноября, происходило заседание главного комитета по крестьянскому делу под личным председательством Александра Николаевича. Оно началось чтением новой записки, составленной Ланским (или Милютиным для Ланского), который сам по болезни отсутствовал. В виду совершенно определенного настроения императора, министерство внутренних дел позволяло себе быть великодушным: оно объясняло поступки депутатов их „неразумием“, которому должен быть положен предел для собственного спасения дворянства. В подробную критику адресов и вообще предположений депутатов первого призыва новая „записка“ Ланского не входила, удовольствовавшись беглым замечанием, что „безусловное осуждение редакционных комиссий касается не столько трудов их (еще не всем известных), сколько тех основных и коренных начал, которые приняты высшим правительством и которым следовали комиссии“. Не без ядовитого намека на адрес Унковского, министр доказывал, что „стремления, крайне опасные для будущего спокойствия России“, заключаются отнюдь не в проектах редакционных комиссий, а именно в поползновениях дворянства урезать крестьянский надел и взять за него с крестьян возможно дороже. Но козырем в игре Ланского являлось, как и можно было ожидать, нелепое „письмо“ Шидловского. Оно выставляется в „записке“ наиболее полным и искренним выражением дворянских пожеланий,—

та же мысль яко бы выражена и в адресе восемнадцати, „хоть в значительно смягченном виде“, а „в более скрытой форме“ — и в адресе пяти. Возмездие, по размерам крамолы, предполагалось довольно мягкое: „поставить на вид всем членам, подписавшим адресы, сделав им через губернские начальства надлежащие внушения по сему предмету“. Но перепуганным сторонникам депутатов в главном комитете этого показалось мало: и, стремясь засвидетельствовать свое усердие перед разгневанным государем, они наперерыв предлагали более строгие меры. В результате, Шидловский и Унковский были отданы под надзор полиции, четырем товарищам Унковского сделано форменное „замечание“ и лишь по отношению к наиболее скромным и умеренным „восемнадцати“ удовольствовались внушением.

„Неоспоримая победа осталась как-будто за редакционными комиссиями“,— пишет в своих мемуарах вдова Н. Милютина, заканчивая рассказ об этом эпизоде. „Как-будто“ вставлено здесь весьма у места. Происшедший конфликт был чисто политическим,— в узком смысле этого слова. Его острота и глубина всецело зависели от того, насколько политический момент был важен для обеих сторон. Но мы видели, что для депутатов эта сторона не только не представляла первостепенной важности, но даже была инкриминирована им, в значительной степени, по недоразумению. Какой же, в самом деле, был „сторонник олигархического правления“ даже Шидловский? А о неблагонадежности „восемнадцати“ даже и говорить было странно,— само министерство внутренних дел решалось на это лишь с большими ограничениями. Рано или поздно недоразумение должно было разъясниться. Рано или поздно Александр II должен был увидеть, что он отчасти по недоразумению, отчасти по „наветам“ своего министра, принимал за красных революционеров самых лойяльных верноподданных. Сторонники „аристократической партии“ прекрасно это понимали — и не теряли мужества. „Неужели вы думаете, что мы вам дадим кончить это дело,—спрашивал Милютина граф Бобринский,—неужели вы серьезно это думаете?... Полноте, пожалуйста. Не пройдет и месяца, как вы все в трубу вылетите, а мы сядем на ваше место...“

Дело совершилось не буквально так, но весьма близко к этому: раз Александр Николаевич убедился в политической невинности дворянства, он не мог устоять против дружного натиска этого сословия, с которым он социально был связан тысячами нитей *).

Дружности натиска снова очень помогла сама же „бюрократия“. Как это часто бывает, опасаясь новых манифестаций, министерство внутренних дел приняло такие меры, которые неизбежно должны были подогреть настроение и вызвать манифестации в удвоенном масштабе. Тотчас вслед за отъездом депутатов из Петербурга Ланской вспомнил, что в целом ряде губерний вскоре предстоят дворянские выборы, и, сообразив, что депутаты непременно используют губернские собрания для отчета о своих действиях в Петербурге, поспешил исхлопотать высочайшее повеление, воспрещавшее дворянам на своих очередных собраниях „входить в какие бы то ни было суждения по предметам, до крестьянского вопроса вообще касающимся“. Повеление было не без прецедента: предшествовавшей осенью (1858 г.) был уже разослан аналогичный циркуляр; тогда это была одна из первых ласточек нового курса. Но тогда помещики были еще исполнены уверенности в предстоящем созыве всероссийского дворянского собрания. Теперь эта мечта была навсегда разрушена и дело принимало такой вид, что дворянам просто-напросто зажимают рот в вопросе, который всего ближе их касается. Почти все дворянские собрания декабря 1859 г. ознаменовались бурными сценами, демонстрациями в честь вернувшихся депутатов и отправкой императору петиций и адресов, по содержанию тождественных с заявлениями „восемнадцати“ и „пяти“ — но по тону даже более резких. Особенной решительностью требований отличался адрес владимирского дворянства, где впервые за это время мы встречаем уже действительно конституционные

*) От этой социальной связи Александр II не отрекался — и засвидетельствовал ее не дальше, как в речи, с какой он обратился к тем же депутатам первого призыва, принимая их в первый раз 2 сентября. „Я считал себя первым дворянином, когда еще был наследником, — говорил он в этой речи, — я гордился этим, горжусь этим и теперь и не перестаю считать себя в вашем сословии“. См. выше II „Губернские комитеты“.

заявления, хотя и в робкой форме: владимирские дворяне, по их „искреннему и глубокому убеждению“, находили необходимым для России „строгое разделение властей“ и „управление, общее для всех сословий“. Что здесь речь шла не о местном самоуправлении, а о государственном устройстве вообще, доказывается тем, что „хозяйственно-распорядительному управлению“, тоже „общему для всех сословий“, отведен особый пункт, следующий за приведенными выше. В речах депутатов, предшествовавших подписанию адреса, говорилось еще прямее о „свободных общих выборных началах, не стесняемых никаким особым произволом“ и о „строжайшем охранении неприкосновенности прав“. Но в тех же речах впервые прозвучала и еще одна характерная нота: сознание того, что дворяне одни, как сословие, совершенно не в силах отстоять эту „неприкосновенность“ собственного права. „Если мы ныне воспользуемся прежними выборными правами, то мы сами как-будто отодвинемся назад навсегда и выключим себя добровольно из общей массы государственного народонаселения“,— говорил депутат Протопопов. „Пожертвуемте же сами для новой возрождающейся жизни кичливыми грамотами, бархатными книгами, аристократическими титулами и — за все это прежнее гордое и суетно бесполезное величие наше — всеподданнейше испросим, как необходимое для пользы и нужд наших, одно общее со всеми сословиями название свободных граждан“. Все это были пока только фразы, — и сквозь „демократизм“ этих фраз слишком ясно сквозила горечь именно дворянской обиды. Но каковы бы ни были мотивы, мысль опереться на все общество против произвола сверху встречается теперь нам не в одних речах владимирских депутатов: рязанское дворянское собрание сочло нужным в своем прошении на первом месте поставить такой пункт: „Ускорить разрешение вопроса и окончательно освободить крестьян“. Манифестации имели место и на собраниях орловского, ярославского, а впоследствии и петербургского дворянства. Но самой громкой историей была тверская. Унковский был здесь губернским предводителем, очень популярным — и уже в силу одного этого его личное столкновение с „бюрократией“ должно было стать

общедворянским делом. Тверские дворяне также начали с петиции о снятии запрета с крестьянского вопроса. Но когда эта петиция не только не достигла цели, а вызвала удаление Унковского от должности предводителя, тверское дворянство явно перешло в оппозицию. На место Унковского никто не захотел баллотироваться. Мало того: в восьми уездах не удалось выбрать ни предводителей, ни депутатов, большинство дворян отказывалось от службы по выборам, а желавших избираться забаллотировывали. Это было, кажется, первое применение политического бойкота на русской почве. В то же время дворяне устраивали неофициальные собрания, обсуждая на них запретный крестьянский вопрос и, в частности, проекты выкупа на принятых тверским комитетом началах. До Петербурга стали доходить слухи, что Унковский и его кружок собираются, в пику правительства, самостоятельно освободить крестьян, и что у них даже заготовлено нечто в роде манифеста на этот счет, который они собираются напечатать в тайной типографии... Организованность и упорство тверского движения перепугали Петербург, и против Унковского и его ближайших сотрудников, Европеуса и Головачева, были приняты экстраординарные меры: они были отправлены в административную ссылку (Унковский в Вятку, откуда, его, впрочем, скоро вернули).

Это был последний удар грома: уже владимирское дворянство, дело которого попало на рассмотрение высших властей позже тверского, отделалось легким выговором, а с петербургским Александр II вступил в переговоры. Пока министерство внутренних дел свирепствовало, Александр Николаевич, после первой вспышки гнева, вызванной „олигархическими“ проектами Шидловского и Безобразова, очень скоро вернулся к той двойственной политике, которой не без основания так боялись Ланской и Милютин. Уже 10 ноября, меньше чем через неделю после „суда“ над депутатами, он ездил во Псков на бал, который был ему предложен псковскими дворянами еще раньше, во время его путешествия, но тогда отклонен. Теперь император пробыл во Пскове два дня, два раза принимал дворянских предводителей и оба раза держал к ним речи, успокаивавшие и обнадеживавшие „первенцев земли русской“. Особенно

характерна была в этом отношении вторая речь: „Я уверен в вашем ко мне доверии и имею одинаковое к вам,—говорил Александр Николаевич. — Будьте уверены, что интересы ваши всегда близки моему сердцу. Я надеюсь, что общими силами, с помощью божиею, мы достигнем желаемого конца в этом деле к общей пользе. Прошу вас не верить никаким превратным толкам, которыми только хотят вас мутить, а верьте мне одному и моему слову“. Скоро император получил возможность обнадежить свое верное дворянство не одними словами. Здоровье Ростовцева не выдержало той передряги, какую заставила его пережить разыгравшаяся осенью 1859 г. „политическая драма“. Председатель редакционных комиссий, по словам современника, „боялся депутатов, приписывая им слишком большое значение“. На такого человека, каким был Ростовцев, угрозы кн. Орлова и других властных людей должны были иметь свое влияние. Переутомление от спешных, лихорадочных занятий над совершенно новым и непривычным для старого генерала делом тоже не могло пройти даром. В конце октября Ростовцев уже не мог председательствовать в общих собраниях комиссий, а в декабре у него образовался карбункул (по всей вероятности, на почве нервного истощения), и от последствий неудачной операции над ним он умер 6 февраля следующего 1860 года. Возник вопрос о заместителе. Ланской предлагал себя, что означало фактически передачу всего дела в руки Милютина. Но до такой степени солидаризироваться со своим министерством внутренних дел Александр вовсе не желал. Он уверил Ланского в своем доверии,— точно так же, как уверял в нем недавно псковское дворянство,—но уклонился от прямого ответа на его предложение под тем предлогом, что ему нужно еще ознакомиться с предсмертной запиской Ростовцева. А четыре дня спустя председателем редакционных комиссий был назначен один из виднейших членов аристократической камарильи, министр юстиции, граф В. Н. Панин. „Глава самой дикой, самой тупой реакции поставлен во главе освобождения крестьян“,— писал „Колокол“.

Личность Панина довольно хорошо известна русской читающей публике по той массе анекдотов, которую собрала

около его имени либеральная историческая традиция. Анекдоты эти, — помимо недостатков, свойственных анекдотическому методу оценки исторических деятелей вообще—представляют еще то неудобство, что они закрывают от читателя то серьезное, что было в Панине и что делало символическим его назначение. Эту сторону нового председателя редакционных комиссий хорошо подметил тот автор, у которого мы уже заимствовали характеристику Ростовцева. Продолжая сравнивать этого последнего и Панина, он говорит: „Деспотизм Ростовцева происходил более от его желчного темперамента и от военного воспитания; притом доброта сердца постоянно смягчала слишком подчас резкие порывы воли; напротив, деспотизм Панина, врожденный, холодный, злой, умышленный и обдуманный, преследующий жертву, неспособный ни на какие сделки и уступки. Лесть Ростовцева более была похожа на лакейское шутовство, желающее развеселить и позабавить барина; лесть Панина рассчитанная, тонкая угодливость, готовая обратить его в палача для исполнения желаний и видов власти“ *). Именно эта-то последняя особенность, повидимому, и выдвинула Панина: для третьей фазы крестьянской политики нужен был человек, у которого „вовсе не было убеждений, и была только одна забота — угодить“ **). Можно было быть спокойным, что Панин не хуже Ланского сумеет подавить всякие „либеральные“ попытки, от кого бы они ни исходили: но в то же время этот крупный помещик и непременный член „аристократической партии“ был живой порукой, что „интересы дворянства будут, сколько возможно, гарантированы“. Назначением Панина кончалась размолвка Александра Николаевича с его дворянством, начавшаяся в 1858 году и ознаменовавшаяся учреждением редакционных комиссий. Правительство взяло назад те уступки, которые у него вырвал страх перед пугачевщиной — дворянство потеряло то, что

*) „Материалы“ II, стр. 381.

**) Сам Панин уверял вел. кн. Константина Николаевича, что у него, Панина, „есть убеждения, сильные убеждения“. „Но,—прибавил он,— по долгу верноподданнической присяги, я считаю себя обязанным прежде всего узнавать взгляд государя. Если я каким-либо путем, прямо или косвенно, удостоверяюсь, что государь смотрит на дело иначе, чем я—

оно выиграло, благодаря этому страху: теперь восстановилось прежнее равновесие, и Александр Николаевич не желал его нарушать первый.

„Колокол“ советовал „комиссиям“ попросту закрыться после назначения Панина, а членам их подать в отставку. Герцен верно оценивал идею этого учреждения, но он идеализировал его практику: на самом деле, комиссии ведь вовсе не были так радикальны, чтобы их нельзя было примирить с Паниным. Мы уже видели, что и в допанинский период они с большим трудом удерживали то неустойчивое равновесие между дворянскими и крестьянскими интересами, которым так дорожил Ростовцев, постоянно твердивший, что „крестьянин должен немедленно почувствовать, что быт его улучшен, а помещик — что интересы его ограждены“. С этого равновесия комиссия всегда готова была сойти в сторону интересов помещика. Теперь, когда землевладельцы окончательно высказались, правительство,— сколько бы оно ни делало вид, что оно „не колеблется“ и ни с чьим мнением считаться не желает,—не услыхать голоса господствующего класса не могло. С Паниным или без Панина — „уступки“ должны были начаться: новый председатель комиссий имел значение только симптома.

Как только начался *второй период* занятий редакционных комиссий, когда они должны были пересмотреть свои первоначальные проекты в связи с „отзывами“ на них депутатов первого призыва, то сразу, при пересмотре первого же доклада, „основание и размер надела“, атмосфера сгустилась и в воздухе запахло „потасовкой“,— по выражению одного из членов. Члены-эксперты, очевидно, сильнее почувствовали толчок от только что происшедшего столкновения комиссий с депутатами комитетов и сделали явную попытку повернуть назад. Член-эксперт Галаган, крупный украинский помещик, выступил с форменным предложением отказаться от выдвинутого комиссиями

я долгом считаю тотчас отступить от своих убеждений и действовать даже совершенно наперекор им с тою же и даже с большею энергиею, как если бы я руководствовался моими собственными убеждениями“. Передававший эту автохарактеристику современник определил ее, как совершенную апологию подлости, какую только ему удавалось слышать“.

принципа существующего надела и усвоить защищаемый большинством комитетов принцип надела „нормального", только приняв норму не одинаковую для всех имений, а, так сказать, подвижную, установив для каждой местности максимум и минимум нормального надела. Галагана поддержало еще несколько человек. Милютин (председательствовавший за болезнью Ростовцева) страшно взволновался. „Нам нечего скрывать, — говорил он Галагану,— вашими возражениями уничтожается существо нашего положения". Но попытка подавить противника безапелляционной ссылкой на высочайшую волю совершенно не удалась временному заместителю Ростовцева. Галаган, очевидно, о настроении этой воли имел более или менее правильное представление. Пришлось заставить появиться на сцену больного Ростовцева: следующее заседание происходило на его квартире, так как придти в комиссию он не мог и даже „едва сидел", по собственному его признанию. Аргументы, к которым должен был прибегнуть Ростовцев, чтобы провести „во втором чтении" основной принцип комиссий, очень напоминали положение утопающего, хватающегося за соломинку. Он стращал Галангана пугачевщиной, которая на того, повидимому, подействовала несколько сильнее, чем аргумент предыдущего заседания, и просил сохранить основание существующего надела „в заглавии, как вывеску". При этом он весьма недвусмысленно давал понять, что на практике от этого принципа будут сделаны все возможные отступления, но что для этого нужно подождать, пока комиссии перейдут к конкретному выяснению размеров надела на практике.

„Я хозяин, — говорил, в виде пояснительной притчи, Ростовцев, — а вы гости. Вдруг один из гостей, приглашенных на обед, потребовал бы жареного: дозвольте, тут есть горячее, тут есть еще соус, и я, как хозяин, предъявляю, что жареное будет, но надо повременить, его подадут в своем месте". Доклад прошел, но эти два заседания (18 и 23 ноября 1859 года) были самым мрачным предзнаменованием для будущности принятого комиссиями „основного принципа". Следующее заседание, 3 декабря, и началось с чтения „предложения" Ростовцева: „обратить особое

внимание на пересмотр высшего душевого надела.“ Хотя при отрезке здесь и рекомендовалась „величайшая осторожность“, но тем не менее настойчиво указывалось на необходимость соблюдать, как непременное условие, „чтобы размер и оценка высшего надела *сколь возможно не изменяли нынешний доход помещика с его поземельной собственности.* Вследствие этого назначение цифры максимума для каждой местности требует самых тщательных соображений“.

Это означало — предложить комиссиям на решение квадратуру круга: как вышли комиссии из затруднения, покажут несколько примеров. Черноземные губернии, по отношению к размерам надела, были первоначально разделены комиссиями на три „местности“ с максимальным наделом в 3, $3^1/_2$ и $4^1/_2$ десятины, смотря по цене земли в данной „местности“. Минимальный надел был принят в $^2/_5$ максимального, т. е. для самой дорогой полосы он составлял $1^1/_5$ десятины. Припомним, что обязательным для помещика был только этот минимальный надел — и то не без исключения: если по выделе крестьянской пашни у помещика оставалось не более $^1/_3$ всей земли, он не был обязан прирезывать землю крестьянам, даже если у них было ее и меньше минимума. Во второй редакции эта оговорка была еще усилена: было сказано „о сохранении во всяком случае за владельцем не менее одной трети“ etc. Казалось бы, дальше, в смысле ограждения помещичьих интересов было трудно идти. Однако, комиссии во втором периоде своих занятий сделали еще шаг. Они вместо трех полос разделили черноземные губернии на *шесть*, с максимальными наделами в $2^3/_4$, 3, $3^1/_2$, 4, $4^1/_2$, и 6 десятин на душу (последняя полоса была переходной к степным губерниям и обнимала те местности, где сохранились признаки залежного хозяйства). Минимальный же, т. е. более или менее обязательный для помещика надел, был принят в $^1/_3$ максимального. Вследствие этого для двух уездов Тульской губернии и семи уездов Курской получились минимальные „кошачьи“ наделы — в 2.200 кв. сажен (0,92 десятины) на душу. Таким образом, классическое малоземелье этих местностей отнюдь не было косвенным результатом неудачного или недобросовестного применения

принципов реформы, а было сознательно предустановлено тем самым учреждением, которое, по словам его председателя, еще „наклоняло весы в сторону крестьян". Отрезка должна была коснуться в этой местности по некоторым уездам 37 — 41% общего числа душ, а по одному даже 57%; таким образом, никак нельзя было сказать, что отрезке „подверглось возможно ограниченное число крестьян", как этого хотело „предложение" Ростовцева от 3 декабря. Размеры же отрезки здесь составляли от 0,33 до 0,88 десятины на душу, т. е. максимальная отрезка почти равнялась минимальному наделу *).

Как видим, уже в редакционных комиссиях — и притом в ростовцевский период их деятельности — отрезки у крестьян, в тех местах, где земля имела для помещика цену, приняли характер настоящей экспроприации надельных земель в пользу барской запашки, одним решительным ударом завершая ту эволюцию, которая медленно развертывалась на черноземном юге с начала столетия. Редакционным комиссиям оставалось только утешать себя, что „как бы ни был мал наименьший размер надела, быт беземельных крестьян, сравнительно с настоящим тяжелым их положением,

*) Во второй черноземной местности (10 уездов Рязанской губернии) 3 — Тамбовской, 2 — Воронежской, 2 — Харьковской, 8 — Курской, 9 — Тульской, неполных 6 — Орловской, и 3 — Пензенской) с низшим наделом немного больше первой — в 1 десятину, отрезка по отдельным уездам доходила до 49% душ, а в среднем захватывала около 1/3. Размеры ее составляли от 1/2 до 3/4 дес., на душу, а в Орловском уезде доходили почти до 1 десятины. В третьей местности (32 уезда и частью еще 3 уезда губерний: Харьковской, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Симбирской, Курской, Орловской, Пензенской, Казанской), отрезки в отдельных случаях затрагивали более 80% душ, т. е. подавляющее большинство крестьян, а величина их в Пензенском уезде доходила до 1,32 десятины на душу т. е. превышала минимальный надел этой местности (1 1/6 дес. на душу). В четвертой местности (приволжские уезды Казанской и Самарской губерний) отрезка захватывала от 36 до 50% всего числа душ и доходила (в Свияжском уезде Казанской губ.) до 2,83 дес. на душу, т. е. была вдвое больше минимального надела этой местности (1 1/3 дес.) Всего меньше была отрезка в пятой и шестой местностях — наиболее многоземельных. Благодаря им и получалось успокоительная средняя: во всей черноземной полосе число имений с отрезками редакционные комиссии насчитывали около 25%.

сделается лучше". Пролетариата все-таки не будет, а с точки зрения государственного интереса это главное, так как,— аргументировали комиссии в другом месте,—„коалиции работников, коллективная оппозиция против капиталистов и властей, со всеми их последствиями... развились почти исключительно в тех сословиях, в которых распущенные личности, не связанные никаким общим поземельным интересом и предоставленные самим себе, сознали свою единичную слабость и сложились в искусственные союзы, враждебные правительству, собственности и общественному порядку..." Там, где у крестьянина есть хоть квадратная сажень земли, привязывающая его к „естественному" союзу — общине с круговой порукой — нет места ничему подобному.

Для полноты картины этого отступления редакционных комиссий — отступления, повторим это еще раз, не принципиального, не качественного, а чисто количественного — приходится еще взглянуть на другую сторону. Если в принципе допускалась отрезка земли у крестьян в пользу помещика, как исключение,— то точно так же, тоже как исключение, допускалась и противоположное — прирезка земли помещиком к крестьянскому наделу, если он был ниже минимума. Насколько малым исключением было первое, мы сейчас видели. Что же касается прирезки, то таковая во всей черноземной полосе должна была коснуться 18.302 душ в 59 имениях и добавить им 5.473 десятины земли. Так как вся площадь надельной земли в этой полосе составляла 9.841.000 десятин, то в процентах увеличения крестьянского надела составит 0,06%. В этом состояла экспроприация помещичьих земель в пользу крестьян по проектам редакционных комиссий второго периода. В третьем периоде своих занятий, „когда имевшиеся сведения вполне разъяснили предмет", комиссии „нашли возможным еще более уменьшить число случаев прирезки".

А именно: губернские присутствия получили право освобождать помещика от прирезки при всяком размере надела и при всяких относительных размерах барской запашки, если присутствия найдут, что „быт крестьян обеспечен или встречаются какие-либо препятствия к прирезке земли".

Исходной точкой для дальнейшего движения комиссий по усвоенному ими пути в этом третьем периоде послужило появление в Петербурге второй группы депутатов от губернских комитетов, так называемых „депутатов второго приглашения“.

„Большая часть новых представителей губернских комитетов*) были свидетелями всего, что свежо происходило на дворянских выборах вследствие циркуляра министра внутренних дел. На них лежала как бы обязанность отомстить правительству за все нанесенные дворянству обиды. Один из них, напр., пензенский депутат Горсткин, был тот самый, который недавно еще в московском Английском клубе грозил кн. Черкасскому, что по прибытии в Петербург депутаты обнаружат все скрытые преступные замыслы редакционных комиссий. Сверх того, депутаты второго приглашения имели все необходимое время, чтобы на досуге изучить предположения комиссий“ **).

Можно было ожидать столкновения еще более горячего, чем в первый раз: но ничего такого не произошло. Даже беседа с членами комиссий знаменитого Горсткина кончилась рукопожатиями и комплиментами. Острый момент явно проходил. Один из депутатов первого приглашения — тот же Кошелев — обратился к второочередным представителям дворянства с открытым письмом, распространявшимся в списках. Здесь он, на основании горького опыта своего и своих товарищей, настаивал на том, чтобы их преемники не дробились на группы и кружки, а объединились вокруг двух основных требований: обязательного выкупа и той умеренной программы политических реформ, которую выдвинул Унковский. Но и то и другое уже устарело: необходимость политических реформ умеренного типа,— и притом именно, как противоядие против исключительного влияния дворянства,— была сознана правительством Алексадра II уже давно: из проектов Унковского новостью был только суд присяжных, но домогаться его вовсе не входило в классовые интересы помещиков. Логическим острием дворян-

*) Их было всего 45 человек от двадцати губернских комитетов и два—„общих комиссий“: Виленской и Киевской.

**) „Материалы“, II, 394.

ских требований являлась сословная конституция: но опять-таки классовые интересы крупного и среднего землевладения вовсе не так настойчиво ее требовали, чтобы решиться второй раз дразнить этим красным платком монарха, абсолютно не переносившего мысли, что его власть чем-нибудь и когда-нибудь может быть ограничена. Новый, европейский способ проводить свои сословные требования решительно не удавался: но никто не мешал прибегнуть к старому—действовать через дворцовую переднюю. Имея теперь „своего человека" даже во главе редакционных комиссий, этим испытанным путем можно было достигнуть очень многого. Было вполне естественно, что дворяне к нему обратились, и что ход крестьянского дела принял еще более „николаевский" характер, чем он имел раньше. Но при данной ситуации было бы наивностью, если бы они этим путем стали домогаться обязательного выкупа, как советовал им Кошелев. Обязательный выкуп обозначал постановку всей реформы под сильнейший контроль правительства,—той самой „бюрократии", с которой дворянство воевало. Пока помещики еще надеялись покорить противника себе „под нози"—они могли стоять за эту форму ликвидации крепостного хозяйства. Теперь, когда дело шло на компромисс, вопрос стоял иначе. Дворянству нужен был возможно полный простор от вмешательства органов администрации, как центральной, так и местной. И между депутатами второго призыва была особенно популярна идея „добровольных соглашений" помещиков с крестьянами, легшая в основу проекта, выработанного петербургским дворянством с согласия императора*). Согласно этому проекту, для „добровольных соглашений" относительно земли назначался трехгодичный срок; по окончании его в тех имениях, где соглашения не состоялись, вводился „нормальный надел", как мы знаем, любимая мысль большинства комитетов.

Но в конце концов большинство депутатов „второго приглашения" нашло и этот проект недостаточно радикаль-

*) Едва ли нужно прибавлять, что этот проект шел навстречу желаниям самого крупного землевладения, одним из представителей которого в редакционных комиссиях и был именно петербургский предводитель гр. Шувалов, см. выше (III. „Редакционные комиссии").

ным и обратилось к Панину с письмом, где требовало абсолютной свободы соглашений (по истечении известного переходного срока) в том quasi-манчестерском духе, каким были проникнуты некогда речи Шувалова и Паскевича (см. III. Редакционные комиссии"). Это письмо было кульминационным пунктом дворянской реакции в экономическом вопросе: как все идеальные требования, оно не воплотилось в жизнь целиком, но Александр Николаевич отнюдь не желал обострять вторично своих отношений к дворянству, и притом из-за экономики. Редакционным комиссиям пришлось сделать еще несколько шагов по пути к „уступкам": было введено более дробное разделение полос на „местности" (которых теперь в черноземной полосе оказалось 10, а в нечерноземной — 11) с таким расчетом, чтобы путем мелких отрезок еще более понизить максимум надела в той или другой „местности". В результате получились „наивысшие" наделы менее средних наделов государственных крестьян в той же местности.

Высший надел был установлен:

Черноземная полоса:

Какая местность	Число десятин	Число уездов	Средн. надел гос. крестьян (без леса) в десятинах
Первая	$2^3/_4$	13	3,14
Вторая	3	49	3,35
Третья	$3^1/_4$	12	3,51
Четвертая	$3^1/_2$	20	4,19
Пятая	4	13	4,85
Шестая	$4^1/_4$	5	6,60
Седьмая	$4^1/_2$	13	5,18
Восьмая	5	3	5,30
Девятая	$5^1/_2$	8	8,12
Десятая	6	8	7,79

Степная полоса:

	9	10	14,60

Нечерноземная полоса:

Первая	$3^1/_4$	22	2,82
Вторая	$3^1/_2$	14	3,09
Третья	$3^3/_4$	16	3,00
Четвертая	4	43	3,57
Пятая	$4^1/_4$	8	3,58
Шестая	$4^1/_2$	34	3,84
Седьмая	5	44	3,80
Восьмая	$5^1/_2$	25	3,60
Девятая	6	14	4,74
Десятая	7	3	2,67
Одиннадцатая	8	20	8,02

Как видим, на нечерноземном севере,— там, где, по откровенному выражению одного помещика, современника реформы, „земля почти ничего не стоила“, на нее не скупились,—помещичьи интересы ограждались там иными путями. Сопоставляя эти цифры, необходимо иметь в виду, что восьмидесятинный надел впоследствии совсем исчез из таблицы, а прочие нормы хотя и не изменились, но целый ряд уездов был перемещен в низший разряд.

Конец совместных занятий комиссии и депутатов второго приглашения ознаменовался дружеским обедом, на котором говорились речи о неприкосновенности священного права собственности — со ссылками на договоры Олега и Игоря с греками, и злейший „бюрократ“ из сидевших в комиссиях, Я. Соловьев, провозгласил тост в честь губернских комитетов. То было символическое примирение двух групп дворянства, так резко разошедшихся, было, полтора года назад. И, глядя на эту сцену, русский крестьянин мог повторить, несколько переиначив, слова, которыми один московский купец приветствует примирение между боярами в известной драме А. Толстого: „помирились вы нашими землями!“

С открытием старых путей воздействия „общества“ на „правительство“, редакционные комиссии совершенно утратили то значение сомостоятельного учреждения, автономно решающего вопрос, какое они имели по первоначальному плану. Чем ближе дело подходило к концу, тем становилось яснее, что последнее слово „тайные советники“ оставят все же за собой, а после всех выскажется сам император. Уже летом 1860 года Панин попытался действовать не как председатель, а как „начальник“ комиссий. А когда Милютин и его кружок дали ему отпор, он попросту отложил свои возражения до того времени, когда комиссий уже не будет: до решения дела в главном комитете. Ввести в этот последний хотя бы одного Милютина не удалось, несмотря не то, что за него хлопотал великий князь Константин Николаевич. 10 октября 1860 года комиссии были официально закрыты, причем у них предварительно не спросили даже, смогут ли они кончить свое дело к этому сроку. Чтобы несколько загладить эту грубость, Ланской добился у императора

прощальной аудиенции для членов комиссий. Она состоялась 1 ноября — и едва ли могла поправить впечатление. Александр Николаевич довольно сухо поблагодарил за „добросовестные труды“ орудия своего „нового курса“ — ставшего теперь устаревшим, — и тут же кстати упомянул о „несовершенствах“ всякого труда, и о том, что „может быть, придется многое изменить“. Только под самый конец речи прозвучало несколько теплых нот, но заключительный аккорд — особая благодарность Панину, отношение которого к членам комиссии в последнее время было прямо враждебным, — должен был заглушить и их.

А затем дело пошло так, как будто „нормальный“ ход его с ноября 1857 года ничем не прерывался. 10 же октября происходило первое заседание главного комитета по крестьянскому делу для рассмотрения проекта „положения“ — причем со всех членов, по высочайшему повелению, было взято обязательство, что о всем происходящем в комитете они будут хранить безусловную тайну. „Открывшийся“ 20 ноября 1857 года комитет вновь стал „секретным“, как во времена Николая Павловича. Любопытнее всего, что секрет распространялся и на бывших членов редакционных комиссий, которые были лишены всякой возможности знать, что же собираются делать с плодами их усидчивой полуторагодичной работы. Немудрено, что, как и во времена Николая Павловича, темнота тотчас же наполнилась самыми невероятными слухами — причем не казалась исключенной даже и возможность, что никакой реформы вовсе не будет... На самом деле, в главном комитете продолжалась та же ожесточенная борьба, которая, при дневном свете, происходила со времени встречи депутатов первого призыва с редакционными комиссиями — борьба из-за земли. Принципиального вопроса никто не поднимал. Из сторонников обязательного выкупа в комитете оказался один Блудов. Добровольные соглашения защищал кн. Гагарин, но и то с поправкой, что по одной десятине крестьяне все-таки должны получить непременно: это было, в сущности, только количественное отличие от проекта комиссий, которые для отдельных местностей сами допускали минимальный надел даже и меньше одной десятины. Но и Гагарина почти никто не

поддерживал. Большинство, с председателем вел. кн. Константином Николаевичем во главе, стояло за проект редакционных комиссий, но для абсолютного большинства этой группе не хватало одного голоса, так как в комитете образовалась еще четвертая группа, с министром государственн. имуществ М. Н. Муравьевым (Виленским) во главе, стоявшая просто за отсрочку окончательной ликвидации поземельных отношений „впредь до обмежевания и кадастрирования всех владельческих дач", т. е. на неопределенное время. Вне всяких групп стоял Панин, много говоривший о неуклонном соблюдении высочайшей воли, но решительно отказавшийся признать заключения высочайше утвержденных и состоявших полгода под его председательством редакционных комиссий по четырем пунктам: он стоял за вотчинную полицию помещиков, восставал против идеи „бессрочного пользования" и, в связи с этим, против „ограничения прав собственности помещика на его землю"; наконец, требовал дальнейшего понижения максимума крестьянского надела, т. е. дальнейших отрезков. Так как только голос Панина мог сделать большинство большинством, то в конце концов он и оказался вершителем судеб русского крестьянства. Насчет бессрочного пользования его удалось убедить, что тут лишь юридическая фикция, вполне безобидная для помещика: вотчинной полицией он тоже соглашался поступиться, но насчет земли он был неумолим. И вот длинный и сложный процесс, с небывалой в России широтой и публичностью развертывавшийся в течение двух лет перед всем обществом, закончился чрезвычайно домашней сценой, живо напоминавшей, как вершились дела за „выгибным столиком" в уборной Екатерины II. Бывший председатель редакционных комиссий с бывшим их секретарем, П. Семеновым, в сотрудничестве нескольких чиновников министерства юстиции, спешно и горячо перекраивали крестьянские наделы, еще уцелевшие от операций, производившихся над ними ранее. „Местности с 8 десятинами высшего надела были совсем отброшены из проверки, с общим переводом из восьмидесятинных наделов на семидесятинные",—рассказывает очевидец этой достопамятной сцены. „Там, где высший надел был предположен в $3^3/_4$ де-

сятины, вместо этого размера было принято назначать $3^1/_2$ или 4 десятины, смотря по местному положению. Когда дошли до Даниловского уезда, Ярославской губернии, и гр. Панин спросил Топильского (чиновника министерства юстиции, до сего момента не имевшего никакого касательства к аграрному вопросу), какую принять в нем цифру для высшего размера, последний (т. е. Топильский) не понял и сказал: $4^1/_2$ десятины. Гр. Панин, прочтя выставленную в ведомостях цифру, сказал: „А я думал $3^1/_2$ десятины". Я заметил, что в Даниловском уезде мало земли у помещиков, и наделы крестьян в натуре вообще не велики. Тогда граф опять спросил Топильского: как же решить. Топильский отвечал, что—в таком случае 4 десятины" *). Попытка Панина сбить наименьший максимум (для чернозема) до $2^1/_2$ десятин, однако, не удалась—мы уже видели, что и при максимуме комиссий наименьшей надел почти равнялся обезземелению. Просидев еще несколько часов за этой работой, Панин оттягал полдесятины надела у новороссийских крестьян: тогда было уже 12 часов ночи. Позднее время спасло русское крестьянство от худшего.

С присоединением Панина в главном комитете образовалось прочное большинство, и Муравьеву с его „тормозовой методой" **) пришлось стушеваться. Попытка его сочинить наскоро контр-проект— при участии Валуева — тоже потерпела неудачу. Ему и его другу, шефу жандармов кн. В. А. Долгорукову, пришлось пустить в ход самые грубые средства, чтобы повлиять на исход дела. Долгоруков, например, рассказывал, что „в виду общего неудовольствия дворянства, ежедневно заявляемого получаемыми на высочайшее имя письмами, он, Долгоруков, не отвечает за общественное спокойствие, если предположения редакционных комиссий будут утверждены" ***). Но выставлять такие угрозы значило совсем не понимать характера Александра Николаевича: бояться дворянской революции в 1860 году было бы смешно, а дворянская фронда, не пугая, могла его только раздражать. Свое отношение к подобным толкам

*) Семенов, назв. соч., III, ч. II-я, стр. 770—771.

**) Выражение Валуева.

***) Барсуков.—„Жизнь и труды М. П. Погодина", т. XVII, стр. 213.

император резко подчеркнул в последнем заседании главного комитета 26 января 1861 года, которое опять происходило под его председательством. „Вы должны помнить, — внушительно заметил Александр Николаевич, — что в России издает законы самодержавная власть“.

Самодержавная власть повелела „окончить дело к 15 февраля“. При таких условиях обсуждение проекта в Государственном Совете было чистой формальностью, тем более, что, по установившемуся еще при Николае обычаю, император мог соглашаться и с меньшинством, чем Александр II при обсуждении „Положения 19 февраля“ и пользовался очень часто. Тем не менее крестьянские наделы пострадали еще раз и здесь. Но самая главная брешь в проекте редакционных комиссий — право помещиков ликвидировать свои отношения к крестьянам, предоставив им даром ничтожный надел (в $^1/_4$ максимального) — имела за себя большинство уже в главном комитете *). Так как „кошачьи“ наделы допускались, как мы видели, для отдельных местностей и редакционными комиссиями, то принципиального противоречия и здесь не было. Введение этого „нищенского“ или „гагаринского“ надела (по имени предложившего его кн. Гагарина), привязывавшего крестьян к месту, но отнюдь не обеспечивавшего их, только сильнее подчеркнул основную тенденцию всей реформы — превращение крепостного крестьянина в полусвободного батрака с наделом.

Легенда 19 февраля начала слагаться с самого же дня реформы, — даже, можно сказать, раньше этого дня. За несколько дней до этой достопамятной даты, лейб-публицист императора Николая в последние месяцы его жизни, Погодин, писал о предстоящем освобождении крестьян: „Есть ли в истории европейской, всемирной, событие чище, выше, благороднее этого, событие равное, подобное этому? Найдите, укажите мне его! Русские люди! Русские люди! На колени. Молитесь, молитель богу за это высокое, несравненное счастье, всем нам ниспосылаемое, за это беспримерное в летописях ощущение, которое всех нас ожидает, за эту великолепную страницу, которою украшается отечественная история“.

*) См. Семенов, назв. соч., т. III, часть II, стр. 762.

Погодин был консерватор и патриот старого закала, но он не был наемным пером. Ту же мысль, в менее аляповатой форме, можно было встретить и у либеральных историков, и даже у лидеров российского либерализма долго спустя. Действительно ли 19 февраля было такой светлой катастрофой в русской истории? Действительно ли можно говорить о „падении крепостного права в России“ 19 февраля 1861 г.? Беглого взгляда на „Положение 19 февраля“ достаточно, чтобы с полной определенностью ответить на этот вопрос. Крепостное право слагалось из трех элементов: во-первых, права помещика на труд крестьянина, непосредственно, в виде барщины, и посредственно, в виде натурального и денежного оброка; во-вторых, права помещика на ту землю, на которой сидели крестьяне (юридически первое право вытекало из второго); в-третьих, из некоторых функций государственного, полицейского и судебного характера, которые помещик осуществлял не в силу лично принадлежавшего ему права, а как агент центральной власти. Второй из отмеченных нами элементов крепостного права был объявлен подлежащим выкупу, но только с согласия помещика: лишь в 1883 г. выкуп стал обязательным. Как фактически была обставлена выкупная операция — этим мы займемся в заключение настоящего очерка. Юридически помещик остался собственником всей земли своего имения и после 19 февраля. Очевидно, должен был остаться в силе и первый из указанных выше элементов крепостного права: помещик второй половины XIX века, как и помещик первой половины XVII века, мог требовать с крестьян в обмен за землю повинностей — натуральных или денежных, — барщины или оброка. Сохранило ли „Положение 19 февраля“ барщину и оброк? — Вполне. „Положение“ отменило лишь различные мелкие виды натурального оброка: птицею, баранами, разными съестными припасами, холстом, пряжею, шерстью и пр. остатки натурального хозяйства, не имевшие ровно никакого экономического значения во второй половине XIX века. Денежный оброк остался и не был даже фиксирован, как того первоначально хотели редакционные комиссии: через двадцать лет, т. е. к тому времени, когда новые экономические условия должны были сказаться со всей силой, помещик мог

потребовать переоброчки и увеличения платежей. Еще меньшему изменению подверглась барщина: мужская осталась совсем в прежнем виде. Правда, помещик не имел права требовать себе более трех дней в неделю, но, во-первых, по закону он не имел права на бо́льшее уже со времени императора Павла; а во-вторых, сами редакционные комиссии уже согласились, чтобы $^3/_5$ барщинных дней было взято помещиками в летнее, рабочее время, так что даже и по закону барщина в страдную пору оказывалась выше трехдневной. Затем остается уменьшение женской барщины до двух дней в неделю: это было единственное, что оправдывало термин „облегчение“ в манифесте. Но мы видели, что, за исключением малонаселенных губерний нижнего Поволжья, барщина всюду была в разной степени невыгодна самим помещикам: прогрессивные имения в ней, собственно говоря, уже не нуждались. Отсталым нужно было дать только время на переход к новым формам хозяйства: вот почему уже совсем дешевым благодеянием было предоставление крестьянам права по истечении двух лет требовать перевода их с барщины на оброк. В этом пункте „Положение“ особенно ярко отражает непреодолимую силу экономической тенденции, которая заставляет хозяйство в интересах классов идти вперед хотя бы по трупам наиболее отсталых хозяев: не умел сам приспособиться к условиям товарного производства,— не мешай по крайней мере крестьянам. Но для того, чтобы воспользоваться этим прогрессивным шагом закона в своем собственном интересе, крестьянин должен был стать тем „свободным сельским обывателем“, тем „мелким земельным собственником“, о каком мечтало охваченное антидворянским настроенинм правительство осенью 1858 года. Делало ли „Положение“ крестьяниниа тем и другим? Отвечая на первый вопрос, мы подходим к третьему, указанному нами элементу крепостного права, и, зная проект редакционных комиссий даже в его первоначальном виде, мы уже можем ответить на этот вопрос отрицательно. До момента учреждения волостных правлений помещик сохранял всю ту судебно-полицейскую власть, которая ему принадлежала и ранее. С момента их учреждения эта власть фактически переходила к другому помещику, который в первоначальном проекте носил название мирового

судьи, а в окончательном стал называться **мировым посредником** и которому волостной старшина, выборный крестьянский начальник волости, был вполне и непосредственно подчинен. В проекте редакционных комиссий была единственная черта, позволявшая говорить о крестьянском самоуправлении: мировой посредник по этому проекту, хотя и был непременно дворянин-помещик, хотя и выбирался из списка кандидатов, просмотренного и одобренного местными дворянами, но выбирался он все-таки крестьянами через особых уполномоченных. В главном комитете и этот последний проблеск **самоуправления** исчез: непосредственный начальник волостного старшины назначался из среды дворян и отчасти с их одобрения и по их указанию, но назначался общей администрацией, в лице губернатора. То, что потеряли крестьяне, перешло не прямо к местным помещикам, но к правящей дворянской группе, в лице ее местного агента: на счет власти отдельного помещика усилилось централизованное дворянское государство.

Остается создание мелкой земельной собственности. Самая идея не составляла оригинального изобретения правительства: она вышла из среды самих дворянских комитетов, хотя и была, в известный момент, обращена в орудие к обузданию дворянских притязаний. „Гражданская полноправность освобожденных крестьян невозможна без обеспечения их достаточною собственностью, — писало меньшинство калужского комитета, — крестьяне наши не мыслят свободы без земли“. „Пока крестьяне, — говорили 14 членов московского комитета, — прикреплены к земле с обязанностью принять известную часть ее за обязательную повинность, личность является далеко не свободною на деле. Несовместимо... понятие о личном праве с обязательным трудом, исполняемым под полицейским надзором прежнего помещика“. „Собственность есть материальное выражение свободы, лучший ее страж, — рассуждали 11 членов волынского комитета, — она обеспечивает человека, привязывает его к местности и делает его более нравственным; поэтому необходимо, чтобы крестьяне, работая для себя, могли приобретать в собственность недвижимое имущество; чтобы с уничтожением барщины осталась обязанность трудиться“. Тверское

большинство полагало, что (когда крестьяне станут земельными собственниками) „независимо от гарантии материальной, явится и нравственная, обеспечивающая крестьянские платежи". Но помимо таких соображений, более или менее возвышенного свойства, простой экономический расчет учил помещиков передать часть земли в собственность освобождаемым крестьянам, — как это откровенно и весьма наглядно объяснило меньшинство нижегородского комитета. „Землевладельцу, — писало это меньшинство, — важно иметь в соседстве земледельческое население, а при выкупе одних усадеб он будет иметь в соседстве батраков, на первое время выведенных из своего нормального положения, по необходимости уменьшивших, а может быть и вовсе уничтоживших количество рабочего скота, мало-по-малу отставших от земледелия и обратившихся к другой деятельности, сулящей им на первое время большие барыши с меньшим противу прежнего трудом". В то же время „землевладельцы, — по словам нижегородского меньшинства, — заменят обеспеченные им повинности за пользование земли капиталом", — а это единственное средство „дать земледелию нужное развитие, заменив обязательный труд вольным наймом". В результате, как выяснили редакционные комиссии, „только в проектах семи комитетов не содержится никаких указаний на приобретение крестьянами земель в собственность; 14 губернских комитетов высказали мысль о продаже крестьянам угодий, находящихся в их пользовании; по 11 губерниям представлены более или менее подробные соображения по этому предмету, а из комитетов 14 губерний поступили целые планы выкупной операции. Наконец, из отзывов членов от губернских комитетов оказывается, что 69 членов от 34 комитетов и от двух общих комиссий (киевской и виленской) признают выкуп необходимым, хотя и не все в одинаковой мере" *).

Но комитеты отражали мнение более прогрессивной экономически части дворянства, а эта часть была и более вольномыслящей в политическом отношении. Чтобы подрезать крылья ее вольномыслию, пришлось пойти на уступки

*) Скребицкий, IV, стр. 398.

экономически более отсталым, а потому и политически более реакционным слоям дворянства. Первую из этих уступок (хронологически она была последней) мы уже видели: она выразилась в создании „дарственного“ или „нищенского“ надела. Что крестьянин, получивший такой надел, отнюдь не становился „свободным сельским собственником“, это разумелось само собой: дарственник представлял, таким образом, первый вычет из того нового общественного слоя, который проектировало создать правительство. Как велик был этот вычет? Один новейший исследователь определяет число дарственников в полмиллиона, приблизительно, душ, что составляло около 4% всего крепостного населения*). Но так как обезземеление было выгодно далеко не всюду, то эта средняя цифра не дает еще нам достаточного представления о размерах явления: чтобы получить его, нужно взять черноземные губернии, комитеты которых стремились сделать помещиков „монополистами ценного товара“. Тогда средний процент обезземеленных поднимется до 18—19, возвышаясь в отдельных случаях до 33 (Саратовская губ.) и даже до 35% (Самарская) и лишь в двух случаях опускаясь ниже 10 (Тамбовская и Харьковская).

Но „дарственниками“ обезземеление отнюдь не ограничивалось: увеличение отрезком шло совершенно в том же направлении, только останавливаясь немного ранее. Прогрессивный рост отрезков мы уже рассматривали на предыдущих страницах; теперь остается только бросить взгляд на конечные итоги. По данным того же исследователя, в пользовании освобожденных крестьян до 19 февраля было 29.169.000 дес.; отрезано 5.262.000 дес. — 18,1%. Но эта средняя опять-таки не дает ясного представления о размерах явления: для этого снова надо взять черноземные губернии отдельно. Среди них на первом месте идут опять-таки Самарская с 44% отрезков и Саратовская с 41%. Далее: Полтавская (40%), Екатеринославская (столько же), Казанская (32%), Харьковская и Симбирская (по 31%) — всего семь губерний, где у крестьян отрезано более $1/3$ надельной земли. Затем идут: Пензенская (28%), Таврическая (27%),

*) Лосицкий.—„Хозяйственные отношения при падении крепостного права“, („Образование“, 1906г., кн. II).

Черниговская и Воронежская (по 25%); еще четыре губернии, где у крестьян экспроприировано было не менее четверти надела. Наконец, процент был выше среднего для всей России еще в трех губерниях: Тамбовской (24%), Курской (22%) и Нижегородской (21%). Мы видим, что скромная средняя получилась опять-таки благодаря принятию в расчет нечерноземного севера — где „земля ничего не стоила" — а потому не стоило биться и за отрезки *).

Но более реакционная и более отсталая экономическая часть помещиков цеплялась не только за землю: в ее глазах представлял известную цену и крепостной труд. Убеждение в невыгодности барщины составляло особенность экономически прогрессивного и либерального меньшинства. Сверх того, вся нечерноземная полоса России жила эксплоатацией не столько крестьянства, как рабочей силы в имении, сколько отхожих крестьянских промыслов, которые усиленно культивировались и поощрялись в этой полосе самими помещиками; и в этом случае тверские и ярославские либералы уже ничем не отличались от черноземных реакционеров. Мы уже знаем однако (см. II. „Губернские комитеты"), что равительство категорически запретило всякие прямые разговоры о выкупе личности, и комитеты вынуждены были замаскировать эту операцию выкупом усадеб по невероятной цене. Но правительство, как скоро выяснилось, вовсе не желало на деле быть таким же суровым, как на словах, и по отношению к этому вопросу держалось в сущности правила — „грех не беда, молва не хороша." Приступая к установлению размеров выкупной суммы и выкупных платежей, редакционные комиссии рассуждали следующим образом. „По отмене крепостной зависимости, крестьяне обязаны будут отбывать в пользу помещика за земли, отведенные им в бессрочное пользование, определенные повинности, в издельных имениях — работами, а в оброчных — деньгами... При уступке земель крестьянам в собственность за выкуп помещик лишится этого дохода, а потому и должен получить соразмерное вознаграждение. Отсюда вытекает необходимость

*) Но в центральных губерниях, вблизи столиц и на суглинке процент отрезков был порядочный: Владимирской — 16%, Псковской — 13, Московской и Смоленской — 11.

определить высший размер выкупной суммы не оценкою выкупаемых угодий, а суммою постоянного дохода или денежного оброка, установленного на основании „Положения". Не подлежит сомнению, что доход этот во многих случаях будет превышать действительную стоимость поземельных угодий, так как для определения размера крестьянских оброков редакционные комиссии приняли за исходную точку не поземельную ренту, а нынешние повинности, установившиеся под влиянием крепостного права"*).

Не подлежит сомнению, что крестьянин заплатит за землю дороже, чем она стоит: прочитав это откровенное признание того учреждения, которое само, в лице своего председателя, ставило своей задачей ограждение крестьянского интереса и даже извинялось, что зашло в этом направлении слишком далеко, — прочитав это, мы поймем, как наивно очень распространенное в нашей публике мнение, будто помещики обманули крестьян при реформе, взяв с них за землю дороже, чем она стоит. Никакого индивидуального обмана здесь и в помине не было: в глубоко обдуманный план всей „великой реформы" входило — принудить крестьян выкупить свою личность, заставляя их в то же время думать, что они выкупают землю. Этим и объясняется странный прием оценки, заимствованный редакционными комиссиями у тверского комитета — знаменитая градация, которой ни за что не понять человеку, стоящему на точке зрения выкупа земли. Градация заключалась в том, что чем меньше крестьянин получал надел, тем больше он платил за каждую десятину этого надела. Так, при трехдесятинном максимальном наделе в черноземной полосе крестьянин платил по 40 р. за десятину; если его надел был меньше максимума и составлял лишь две десятины, то каждая обходилась ему уже в 43 р. 33 коп.; а за минимальный надел в одну десятину он платил уже 53 р. 33 к. Дело в том, что наименьший надел был в имениях наиболее эксплоатируемых — с наивысшими, относительно, повинностями; переводя эти повинности на деньги, мы получаем сумму, которая падала не прямо пропорционально уменьшению надела, а несколько медленнее. Более эксплоатируемый

*) Скребницкий, IV, стр. 301.

при крепостном праве крестьянин оставался, таким образом, более эксплоатируемым и после своего освобождения.

Естественно является вопрос: откуда же, по представлению редакционных комиссий, должен был брать деньги крестьянин для уплаты выкупных платежей, если эти последние были заведомо выше того дохода, какой мог крестьянин получить от земли? Комиссии давали и в этом себе совершенно ясный отчет: „Нельзя сомневаться,— рассуждали они — что после выкупа, *при достаточной свободе располагать своей личностью*, означенные крестьяне будут вносить исправно следующие с них выкупные платежи, которые, по своей умеренности, могут быть зарабатываемы ими без особенных усилий“. Ён достанет!

Таким образом, являясь сами по себе выкупом личной эксплоатации, выкупные платежи являлись в то же время и увековечением этой эксплоатации на будущее, — только уж не в пользу помещика, который, получив выкупное свидетельство, отходил в сторону, а в пользу помещичьего государства. Вполне понятно, что между суммами, которые выплатили крестьяне, и действительною стоимостью доставшегося им обрезанного надела было очень мало соответствия. Ценность всей площади надельных земель в нечерноземных губерниях составляла, по продажным ценам 50-х годов, 155 мил. рублей, а по ценам 60-х — 180 мил.: а крестьяне заплатили за нее 342 миллиона. „Даром“ великодушно пожертвованная дворянами личная свобода обошлась здесь крестьянам в 162 миллиона рублей. Для черноземной полосы соответствующие цифры будут: 219, 284 и 342 миллиона руб.*) Здесь недаром перед волей имения с крестьянами продавались дешевле пустопорожней земли: взяв на севере двойную цену за землю, которая „ничего не стоила“, здесь за личность, которая тоже „ничего не стоила“, взяли только 58 миллионов рублей.

Нужно однако признать, что, заплатив эти безусловно хорошие деньги, крестьяне получили зато в обмен единственное реальное благо, дарованное им „великой реформой“. Помещик, сохранив многое, все же потерял возможность распоряжаться людьми, как рабочим скотом. Со дня издания

*) См. *Лосицкий*.— „Выкупная операция“, стр. 16.

манифеста прекращалась личная продажа крестьян и дворовых людей, и всякие сделки на лица не могли иметь места; крестьянам предоставлялось право без разрешения владельца вступать в брак, приобретать в собственность движимое и недвижимое имущество и распоряжаться им. Наконец, они могли обращаться по своим делам с просьбами и жалобами в правительственные места, наравне с прочими свободными обывателями: феодальная стена, отделявшая $^1/_3$ деревенского населения России от центральной власти, была сломлена. Крестьянин перестал быть „подданным“ помещика и превратился в то, с чего он начал в XVI веке — в крепкого земле государева тяглеца.

Носитель этой центральной власти был убежден, что все совершившееся — дело его рук. В знаменитой речи перед Государственным Советом (28 января 1861 года) сказано было, что „крепостное право установлено самодержавною властью, и только самодержавная власть может его уничтожить, — а на это есть моя прямая воля“. Как все теперь знают, это не так относительно прошлого — крепостного права никто не устанавливал однократным государственным актом, оно возникло в течение столетия, как плод экономического развития московской Руси. Это было далеко не так и относительно настоящего: крепостное право отменялось потому, что этого желали помещики, и так, как они этого желали. Но правильно была подмечена связь между ростом самодержавия и крестьянской реформой: на пути превращения феодальной России в централизованную бюрократическую монархию 19 февраля было последним и самым важным этапом.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

